

СТИВЕН

Ф

Р

У

А

И

18+

ТЕННИСНЫЕ

МЯЧИКИ

НЕБЕС

ph

Стивен Фрай

Теннисные мячики небес

«Фантом Пресс»

2000

Фрай С.

Теннисные мячики небес / С. Фрай — «Фантом Пресс», 2000

ISBN 5-86471-408-9

Нед Маддстоун – баловень судьбы. Он красив, умен, богат и даже благороден. У него есть любящий отец и любимая девушка. Но у него есть и враги. И однажды злая школярская шутка переворачивает жизнь Неда, лишает его всего: свободы, любви, отца, состояния. Отныне вместо всего этого у него – безумие и яростное желание отомстить. «Теннисные мячики небес» – это изощренная пародия и переложение на современный лад «Графа Монте-Кристо», смешная, энергичная и умная книга, достойная оригинала. Стивен Фрай вовсе не эксплуатирует знаменитый роман Дюма, но наполняет его новыми смыслами и нюансами, умудряясь добавить и увлекательности. Это своего рода «взрослая» версия «Монте-Кристо», настоящий подарок для всех, кто в детстве, затаив дыхание, перелистывал страницы книги Дюма. Стивен Фрай – один из самых ярких людей нынешней Англии. Он незаурядный актер-интеллектуал (у нас известен по ролям Оскара Уайльда и Дживса из сериала по Вудхаузу), язвительный эссеист консервативной «Дейли телеграф», популярный шоумен и превосходный романист, снискавший как любовь читателей, так и добрые слова критиков-снобов.

ISBN 5-86471-408-9

© Фрай С., 2000

© Фантом Пресс, 2000

Содержание

1	5
2	38
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Стивен Фрай

Теннисные мячики небес

Коллеге

Мы – теннисные мячики небес.

Они соединяют нас и лупят.

Как захотят.

Джон Уэбстер. «Герцогиня Малъфи», акт V, сцена 3

1

Заговор

13 се это началось давно, еще в прошлом веке, – веке, когда влюбленные писали друг дружке письма и посылали их, запечатывая в конверты. И временами, чтобы выразить свои чувства, они прибегали к разноцветным чернилам или опрыскивали почтовую бумагу духами.

Плау-лейн, 41

Хэмпстед

Лондон, СЗЗ

Понедельник 2 июня 1980

Милый Нед!

Прости мне этот запах. Надеюсь, ты вскроешь письмо в каком-нибудь укромном месте, когда будешь совсем один. Чтобы никто к тебе не приставал и не отвлекал. Духи называются «*Rive Gauche*»¹, так что я чувствую себя Симоной де Бовуар, а ты, надеюсь, почувствуешь себя Жаном Полем Сартром. Хотя нет, лучше не надо, потому что он, по-моему, ужасно с ней обходился. Я пишу это наверху, после ссоры с Питом и Хиллари. Ха-ха-ха! Пит и Хиллари, Пит и Хиллари, Пит и Хиллари. Тебе не нравится, когда я их так называю, ведь правда? Я так люблю тебя! Если бы ты увидел мой дневник, ты бы просто *умер*. Сегодня утром я исписала целых две страницы. Составила список всех твоих восхитительных, прекрасных качеств – когда-нибудь, когда мы будем вместе, я, возможно, позволю тебе заглянуть в него и ты умрешь еще раз.

Я записала, что ты старомоден.

Во-первых, при самой первой нашей встрече ты встал, когда я вошла в зал, – мило, конечно, но ведь дело было в «Хард-рок кафе», а я вышла из кухни, чтобы принять твой заказ.

Во-вторых, каждый раз, как я называю маму с папой Питером и Хиллари, ты краснеешь и поджимаешь губы.

В-третьих, когда ты в первый раз беседовал с Питом – ну ладно, будь по-твоему, – когда ты в первый раз разговаривал с мамой и папой, ты не мешал им разглагольствовать о частном образовании, частной медицине, о том, как все это ужасно и какое поганое у нас правительство, – и *ни разу не сказал ни слова*. Ну, то есть, о том, что твой папа тори и член парламента. Ты замечательно говорил о погоде и не очень понятно – о крикете. Но так и не проболтался.

¹ «Левый берег» (фр.) – Здесь и далее прим. перев.

Собственно, из-за этого мы сегодня и разругались. Твоего папу показывали в дневном выпуске «Уик-энд уорлд», ты, наверное, видел. (Да, кстати, я люблю тебя. Господи, как я тебя люблю.)

– Откуда они их выкапывают? – рявкнул Пит, тыча пальцем в экран. – Ну *откуда?*

– Выкапывают что? – холодно поинтересовалась я, приготовившись к сваре.

– *Кого*, – поправила меня Хиллари.

– Вот этих пережитков в твидовых пиджаках, – сказал Пит. – Ты только посмотри на старого пердуна. Какое он имеет право говорить о шахтерах? Да если ему кусок угля свалится в тарелку с коричневым виндзорским супом², он даже не поймет, что это такое.

– А помнишь молодого человека, который был у нас на прошлой неделе? – Сторонний наблюдатель наверняка заметил бы, что спросила я это с ледяным спокойствием.

– Гарантии занятости, а! – завопил Пит прямо в экран. – Когда это тебе приходилось покоиться насчет гарантий занятости, *ты*, мистер Итон, мистер Оксфорд и мистер Гвардеец?

Затем он повернулся ко мне:

– Что? Какой молодой человек? Когда?

Если ему задаешь вопрос, он неизменно проделывает этот фокус – сначала скажет что-нибудь ни к селу ни к городу, а *уж после* ответит тебе одним (или несколькими) собственными. Он меня с *ума* сводит. (Как и ты, милый Нед. Только ты сводишь меня с ума, потому что я люблю тебя всей душой.) Если отца спросить: «Пит, в каком году была битва при Еастингсе?» – он ответит: «Опять они урезали пособие по безработице. В реальном исчислении – уже на пять процентов за последние два года. Пять процентов. Сволочи! Еастингс? А зачем тебе? С чего вдруг Еастингс? Битва при Еастингсе была не чем иным, как стычкой военщины с разбойниками-баронами. Единственная битва, о которой каждому следует знать, это битва между...» – и заведет свою обычную волынку. И ведь *знает*, что доводит меня до белого каления. Думаю, можбуть, и Хиллари – тоже. Как бы там ни было, я стояла на своем:

– Молодой человек, которого я к нам приводила. Его имя Нед. И ты отлично его помнишь. Мы познакомились в «Хард-рок» две недели назад.

– Слоан Рейнджер в крикетном джемпере, ты об этом, что ли?

– Никакой он *не* Слоан Рейнджер!

– А на мой взгляд, похож. Хиллс, как по-твоему, походил он на Слоана Рейнджера?

– Он определенно был очень вежлив, – сказала Хиллари.

– Вот именно. – И Пит повернулся к своему дурацкому телевизору, по которому как раз показывали твоего отца, выступающего перед йоркширскими шахтерами, что, должна признать, было действительно смешно. – Ты только взгляни! Старый фашист впервые в жизни оказался севернее Уотфорда³, голову дам на отсечение. Если не считать тех случаев, когда он приезжал в Шотландию, чтобы подстрелить куропатку. Невероятно. *Невероятно*.

– Бог с ним, с Уотфордом, *ты-то* когда в последний раз забирался северней Хэмпстеда?⁴ – спросила я. Вернее, крикнула. Что было, думаю, только справедливо, потому что он вывел меня из себя. И вообще, он бывает иногда *таким* ханжой.

Хиллари проиграла обычную пластинку «не-смей-так-разговаривать-с-отцом», после чего вернулась к своей статье. Она теперь ведет новую колонку, «Лишнее ребро», и очень легко выходит из себя.

² Суп из телятины и овощей.

³ Округ на северо-западной границе Лондона.

⁴ Фешенебельный район на севере Лондона.

– Ты, видимо, забыла, что докторскую степень я получил в Шеффилдском университете⁵, – произнес Пит таким тоном, будто это обстоятельство позволяло претендовать на звание «Северянин десятилетия».

– Подумаешь! – фыркнула я. – Суть дела в том, что Нед приходится сыном как раз этому человеку.

И я торжествующе указала пальцем на экран. Увы, на экране в это время объявился ведущий.

Пит в благоговейном трепете повернулся ко мне.

– Этот юноша – сын Брайана Уолдена? – хрипло осведомился он. – Ты встречаешься с сыном Брайана Уолдена?

Оказывается, ведущий, Брайан Уолден, тоже состоит в парламенте, только от лейбористов. И в мозгу Пита мгновенно возникла картинка: я, а рядом со мной сын социалистического принца. Я просто видела, как Пит пытается быстренько просчитать шансы втереться в доверие к Брайану Уолдену (как тесть к свекру), заполучить на следующих выборах местечко в парламенте и триумфально прошествовать от унылой службы в Управлении народного образования Центрального Лондона к блеску и роскоши палаты общин и национальной славе. Питер Фендеман, смутьян-диссидент и герой рабочего класса, – я видела все эти фантазии в его алчных глазах. Отвратительно.

– Да не этого! – сказала я. – Вон *того*!

На экране опять появился твой отец, на этот раз он с бумагами под мышкой подходил к дверям Дома десять⁶.

Я люблю тебя, Нед. Люблю сильнее, чем приливы любят Луну. Сильнее, чем Микки любит Минни⁷ и Винни-Пух любит мед. Люблю твои большие темные глаза, твою милую круглую попку. Люблю твои спутанные волосы и красные-красные губы. Они правда такие красные, спорим, ты этого не знал. Красные губы, о которых столько пишут поэты, встречаются совсем у немногих. А твои – наикраснейшие из красных, они краснее всех красных губ, о каких я когда-либо читала, и я хочу, чтобы они *прямо сейчас* блуждали по всему моему телу, – но все равно, как бы ни были твои губы красны, глаза велики, а попка кругла, все равно я люблю не их, а *тебя*. Когда я увидела тебя стоящим у шестнадцатого столика и улыбающимся мне, то подумала, что у тебя вообще нет тела. Я вышла из кухни в дурном настроении и увидела перед собой эту сияющую душу. Этого Неда. Этого тебя. Нагую душу, улыбающуюся мне, точно солнце, – и я поняла, что умру, если не смогу провести с тобой остаток моих дней.

И все же как мне хотелось сегодня, чтобы отец твой был лидером профсоюза, учителем средней школы, редактором «Морнинг стар»⁸, хоть самим Брайаном Уолденом – кем угодно, только бы не Чарльзом Маддстоуном, героем войны, гвардейским бригадиром в отставке, бывшим колониальным администратором. А сильнее всего мне хотелось, чтобы он был кем угодно, но не членом кабинета министров в правительстве консерваторов.

Но ведь это же неправильно, так? Тогда и ты был бы не ты, правда?

Когда до Пита и Хиллари *дошло*, они принялись перебегать глазами с меня на экран и обратно. Хиллари оглядела даже кресло, в котором ты сидел в тот день. Просто сверлила его взглядом, словно желала продезинфицировать, а после сжечь.

– Ах, Порция, – сказала она тоном, который принято называть «трагическим».

Пит, разумеется, сначала стал красным, как Ленин, но потом проглотил гнев заодно с разочарованием и начал Разговор. Торжественный. Он *понимает* мой подростковый бунт про-

⁵ Шеффилд расположен в 257 км к северо-западу от Лондона.

⁶ Даунинг-стрит, 10, официальная лондонская резиденция премьер-министра.

⁷ Персонажи диснеевского мультфильма «Приключения Микки-Мауса».

⁸ Газета английских коммунистов.

тив всех тех принципов, в уважении к которым и в вере в которые меня воспитывали. Нет, более того, он этот бунт *уважает*.

– Знаешь ли ты, Порш, что я по-своему горжусь тобой? Горжусь твоим боевым задором. Ты восстаешь против власти, а разве не этому я тебя всегда и учил?

– *Что?* – завизжала я. (Нужно быть честной. Другого слова не подберешь. Это был визг, и ничто иное.)

Он развел руки в стороны и пожал плечами – с самодовольством, которое будет изводить меня до самого дня моей смерти.

– Хорошо. У тебя были свидания с олухом года, принадлежащим к высшему свету, тем самым ты привлекла к себе внимание папочки. Пит готов выслушать тебя. Давай поговорим, идет? Я хочу *сказать*...

Я спокойно встала, покинула комнату и поднялась к себе, чтобы все обдумать.

То есть... мне *следовало бы* так поступить, но куда там!

На самом деле я просто-напросто заорала:

– Иди ты на хрен, Пит! Ненавижу! Ты просто жалок! И знаешь, что еще? Ты *сноб*. Отвратительный, презренный сноб!

После чего я вылетела из комнаты, жახнула дверь и поскакала наверх, чтобы выплакаться. Владыка Бессмертных, говоря словами Эсхила, завершил свои игры с Порцией.

Уф! И еще раз уф.

Во всяком случае, теперь они знают. Ты уже сказал своим? Наверное, они тоже полезли на стену. Их возлюбленного сына заманила в свои сети дочь еврейского интеллектуала левых убеждений. Если только преподавателя истории, получающего полставки в Политехническом институте Северо-Восточного Лондона, можно назвать интеллектуалом, в чем я сильно сомневаюсь.

Но ведь любви без препятствий не бывает, правда? Я о том, что, если бы папа Джульетты бросился Ромео на шею и сказал: «Я не теряю дочь, я приобретаю сына», а мама Ромео разулыбалась от счастья: «Джульетта, душечка, добро пожаловать в семью Монтекки», пьеска получилась бы куца.

Так или иначе, через пару часов после этой «мучительной сцены» Пит постучал в мою дверь с чашкой чая. Точность, Порция, точность. Не дверь была с чашкой чая, а Пит, – впрочем, ты меня понял. Я решила, что меня ожидают новые напасти, однако на деле... Хотя нет, на деле так оно и вышло. Ему только что позвонили из Америки. У брата Пита, моего дяди Лео, случился в Нью-Йорке сердечный приступ, и, когда приехала «скорая», он был уже мертв. Как ужасно! Жена дяди Лео, Роза, умерла в январе от рака яичников, а теперь вот и он. Ему было сорок восемь. В сорок восемь лет умереть от сердечного приступа! Так что мой бедный двоюродный брат, Гордон, приезжает в Англию, чтобы пожить с нами. Это именно он вызвал «скорую» – ну и все такое. Представляешь, видеть, как прямо на твоих глазах умирает отец. А он к тому же и единственный их ребенок. Наверное, он сейчас в ужасном состоянии, бедняжка. Надеюсь, ему у нас понравится. Насколько я знаю, его воспитали в строгой вере, я и вообразить не могу, какое впечатление произведет на него наша семейная жизнь. Наши представления о кошерной пище ограничиваются булочкой с беконом. Я с Гордоном никогда не встречалась. И всегда воображала, что у него черная борода, – чушь, конечно, поскольку он примерно наших с тобой лет. Семнадцать-восемнадцать, что-то в этом роде.

Итоги дня таковы: мир в семье Фендеманов нарушен, а у меня появится на следующей неделе брат, будет с кем поболтать. И я смогу разговаривать о тебе.

А это, о мой Недди, *куда больше того, чего я дождалась от тебя*. «Выиграл матч. Помоему, играл довольно прилично. Много читаю. Очень часто думаю о тебе». Цитирую самые интересные места.

Я знаю, ты занят экзаменами, но ведь и я тоже. Не огорчайся. *Любое* твое письмо приводит меня в трепет. Я смотрю на буквы, изучаю твой почерк, представляю, как рука твоя движется по бумаге, и этого довольно, чтобы я начала корчиться, будто истомленный любовью угорь. Я воображаю, как волосы, пока ты пишешь, спадают тебе на лоб, и это заставляет меня извиваться и пену пускать изо рта, подобно... подобно... ладно, об этом мы еще поговорим. Я думаю о твоих ногах под столом, и во мне начинают играть и искриться миллионы триллионов клеток. От того, как ты перечеркиваешь «Ъ», у меня занимается дух. Я прижимаю конверт к губам, представляю, как ты лизнул его, и голова моя начинает кружиться. Я свихнувшаяся, спятившая, скучная, сопливая и слезливая барышня, и я люблю тебя без меры.

И я хочу, хочу, *хочу*, чтобы на следующий триместр ты не возвращался в свою школу. Брось ее и будь свободен, как все мы. Тебе же не обязательно поступать непременно в Оксфорд, правда? Я бы *ни за что* не стала поступать в университет, который требует, чтобы я торчала в нем весь зимний триместр после того, как все основные экзамены сданы, а все друзья разъехались, – торчала из-за какого-то дополнительного вступительного экзамена. Сколько можно надувать щеки? Почему не вести себя, как нормальный университет? Поедем лучше со мной в Бристоль. Время мы там проведем куда веселее.

Впрочем, что это я к тебе пристаю? Ты должен делать то, что хочешь делать.

Я люблю тебя, люблю, люблю, люблю.

Только что пришло в голову. А вдруг преподаватель истории искусств в ту субботу не повел бы ваш класс в Королевскую академию? Вдруг он взамен потащил бы вас в Тейт или в Национальную галерею? И ты не попал бы на Пиккадилли, не завернул бы позавтракать в «Хард-рок кафе», и я не стала бы самой везучей, самой счастливой, самой обезумевшей от любви девушкой на свете.

В мире столько... э-э... (Порция заглядывает в антологию Томаса Ёарди, которую она, предположительно, изучает.) В мире столько непредвиденного.

Ну вот.

Целую воздух вокруг себя.

Люблю и люблю и люблю и люблю и люблю.

Твоя Порция (поцелуй).

Только один, потому что не хватило бы и квинтильона.

7 июня 1980

Моя милая Порция!

Спасибо за чудесное письмо. После твоей (более чем справедливой) критики ужасного слога моих писем написание этого обещает стать делом более чем мудреным. Из тебя слова просто-напросто бьют, как струя из кайзера (так это, кажется, пишется?), а я для подобного рода штук недостаточно пылок. Да и почерк твой более чем совершенен (разумеется, как и все в тебе), мои же каракули более чем неразборчивы. Я думал о том, чтобы ответить на твое особое добавление (потрясающее, кстати сказать), опрыскав конверт одеколоном или лосьоном «после бритья», но у меня нет ни того ни другого. Льняное масло, которым я натираю мою крикетную клюшку, тебе, наверное, соблазнительным не покажется? Думаю, что нет.

Мне *так* жаль, что ты поссорилась с родителями. Быть может, тебе стоит объяснить Питеру (видишь, я смог это написать!), что я более чем беден? Мы никогда не проводим отпуск за границей, у отца только и хватило средств, чтобы послать меня сюда, и – хоть это, конечно, не произведет на человека левых или еще каких убеждений особого впечатления, – но у отца все время уходит на поездки в провинцию, к своим избирателям, да на попытки не дать развалиться нашему дому. Будь у меня братья или сестры, мне, может быть (кстати, где, *боже милостивый*, подцепила ты свое «можбыть?»), пришлось бы донашивать их одежду, как теперь я донашиваю *его*. Я единственный в школе ученик, который даже в те дни, когда нам разрешено

не облачаться в форму, разгуливает в кавалерийской сарже и старых наездничких жакетах. А то и в допотопном отцовском канотье, почти оранжевом от старости и с обтрепанными полями. Когда мама была еще жива, она, вот честное слово, вязала для меня носки, совсем как старая викторианская дама. Так что если отец у меня и фашист (хотя я, честно говоря, в этом не уверен), то фашист более чем бедный. Сообщаю также, что я рассказал ему о моем знакомстве с одной лондонской девушкой, и он остался этим очень доволен. И даже не полез на стену, когда я поведал ему, что по субботам ты после школы подрабатываешь официанткой в ресторане с подачей гамбургеров. Он даже сказал, что ты, похоже, человек, не лишенный инициативы. Что до еврейства, оно его очень заинтересовало, отец спросил, не бежала ли твоя семья от Гитлера. Он имел какое-то отношение к суду над военными преступниками в Нюрнбурге (или «берге»?) и... нет, я вовсе не хочу сказать, что мой отец лучше твоего, на самом деле твои родители показались мне очень милыми, просто тебе нет нужды беспокоиться о том, что он тебя не одобрит или еще что. Он ждет не дождется знакомства с тобой, а я жду не дождусь возможности познакомиться тебя с ним. Люди очень часто принимают отца за моего деда, потому что он старше большинства родителей – если ты понимаешь, что я хочу сказать. По-моему, он *очень хороший*, но я, конечно, более чем пристрастен. Как бы там ни было, у меня никого, кроме него, нет. Мама умерла родами. Я тебе не говорил? Прости. Я – первый ребенок, а ей уже было под пятьдесят.

Как ужасно то, что случилось с твоим американским дядей! Мне его очень жалко. Надеюсь, Гордон окажется приятным малым. Замечательно, что у тебя наконец появится брат. Все мои кузены – типы просто жуткие.

Просто жду не дождусь конца триместра. Слава богу, последний экзамен уже позади. Я так усердно готовился к нему, что у меня чуть ли не кровь носом шла, и все же, мне кажется, я мог бы сдать получше.

Скучные школьные новости – номер один: меня назначили главным старостой.

Трам-парам!

У нас это называется «старшина школы». Всего на один триместр, но мне и без того хватает забот с подготовкой к Оксфорду, так что это серьезно. (Насчет поступления чуть ниже.) Как бы там ни было, когда доживаешь до моих лет, власть над другими людьми утрачивает всю свою привлекательность. И оборачивается тяжким трудом плюс бесконечные совещания с директором школы и классными «мониторами» – староста класса называется у нас «монитором», только не спрашивай меня почему.

Номер два: в августе парусный клуб устраивает вояж к берегам Шотландии. Учитель, который его возглавляет, пригласил и меня. На две недели – те самые, на которые ты с родителями уедешь в Италию, то есть те самые, когда мы все равно будем далеко друг от друга. Все остальное лето я просижу в квартире отца на Виктории, и ты, надеюсь, станешь проводить со мной столько времени, сколько сможешь! Или ты собираешься снова устроиться на работу в «Хард-рок»?

Так вот. Оксфорд. Мне тоже несносна мысль, что придется вернуться туда в сентябре, когда ты еще будешь свободна как птица. Я без разговоров бросил бы все и поступил с тобой в Бристоль. Дело не в том, что меня так уж заклонило на Оксфорде, просто я знаю, что, если не буду учиться там, это разобьет сердце отца. Его прапрадед учился в Сент-Марке, а после него и каждый из Маддстоунов. Тут даже один из дворишков назван нашим именем. Ты можешь подумать, что из-за этого мне легче поступить, но на деле все наоборот. На деле я должен показать себя на вступительном экзамене лучше, чем практически кто бы то ни было, – доказать, что меня принимают в университет за собственные мои заслуги, а не за фамилию и семейные связи. Для отца это значит так много. Надеюсь, написанное мной не выглядит хронически патетичным. Я – единственный его сын и просто-напросто знаю, как он будет счастлив навещать меня здесь, обходить со мной колледжи, показывать места, в которых он любил бывать, и так далее.

Хорошо бы и ты ко мне приехала. Может, протащить тебя в следующем триместре в школу, выдав за новичка? Все, что от тебя потребуется, – это говорить пописклявее да иметь смазливый вид, а у тебя и то и другое получается так мило. Хотя нет, не мило, – разумеется, ты прекрасна. Самое прекрасное существо, какое я когда-либо видел и когда-либо увижу. (И пищишь ты тоже замечательно.)

Я люблю твои письма. И до сих пор не могу поверить, что все это правда. Что же с нами происходит, на самом-то деле? У многих наших ребят тоже есть подружки, но я уверен – они к ним относятся совсем по-другому. Показывают направо-налево их письма, треплются, доказывая, какие они молодцы. Должно быть, отсюда следует, что для них все это не более чем шутка. А у нас с тобой дело нешуточное, верно?

Ты писала о странной причуде Судьбы, отправившей компанию школьников в Королевскую академию, о том, что, если б не это, мы, скорее всего, не попали бы в «Хард-рок кафе». Мысль более чем *жуткая*. А с другой стороны, когда ты подошла к столу, за которым нас сидело, по-моему, семеро, почему ты взглянула на меня дважды? Не считая того обстоятельства, что я вскочил, будто слабоумный, на ноги. Очень неприятно тебя разочаровывать, но вскочил я вовсе не из вежливости. А потому, что увидел тебя. Своего рода инстинкт. Я могу показаться тебе сумасшедшим, но я словно бы знал тебя всю жизнь.

Больше того, когда я думаю об этом, я готов поклясться, что *знал* – сейчас ты выйдешь из той вращающейся двери. Весь день я чувствовал себя как-то странно. Чувствовал себя *другим* – ты понимаешь, о чем я? – а ко времени, когда мы добрались до ресторана, пропотев два часа в галерее и отшагав полмили по Пиккадилли, я просто *знал*: со мной вот-вот что-то произойдет. И когда ты пошла в нашу сторону (ты *очень смешно* похлопала себя по переднику и проверила, торчит ли за ухом карандаш, – я помню каждую подробность), меня просто подбросило на ноги. Я почти уж воскликнул: «Наконец-то!» – но тут ты посмотрела мне в глаза, мы улыбнулись друг другу – и все.

Но ведь ты, наверное, заметила и других наших ребят? Большинство из них, уж точно, выше меня и красивее. Тот же Эшли Барсон-Гарленд – он в двадцать раз интереснее меня и в двадцать раз умнее.

Это напомнило мне... Я сделал сегодня утром, в биологическом кабинете, кое-что *более чем ужасное*. Это довольно трудно описать, и чувствую я себя из-за этого кошмарно. Тебе тут тревожиться не о чем, но получилось все странно. Я прочитал дневник Барсон-Гарленда. Вернее, часть дневника. Никогда ничего такого не делал, просто не понимаю, что на меня нашло. Я тебе все расскажу при встрече.

При встрече.

При встрече.

При встрече.

Просто НЕ МОГУ перестать думать о тебе. И от этого со мной случаются всякие неприличные вещи.

Еще до моего рождения отец служил в Судане комиссаром округа. Помню, он как-то рассказывал мне, что приезжавшие из Англии молодые люди ходили обычно в отглаженных шортах, а когда навстречу им попадались красивые нубийки, разгуливавшие обнаженными по поясу, а то и вовсе голышом, им приходилось поворачиваться лицом к стене или даже садиться на землю, чтобы скрыть, что они, как выразился отец, «несколько перевозбуждены в нижнем этаже». Так вот, мне достаточно просто представить тебя за чтением моего письма, достаточно просто подумать, что ты скоро увидишь эти слова, и я несколько перевозбуждаюсь в нижнем этаже. Да какое там «несколько»!

Так что теперь, когда я скажу, что думаю о тебе, и думаю *напряженно*, ты поймешь, о чем речь. Ну вот, даже сам покраснел. Я обожаю тебя до того, что мне остается только смеяться над самим собой.

С любовью, возведенной в степень, равную бесконечности плюс еще единица.
Целую,
Нед.

Нед так никогда и не понял, что толкнуло его на этот безобразный, ужасный поступок. Возможно, злой рок, возможно, дьявол, в существование которого он искренне верил.

Он вытянул книжицу из сумки Эшли Барсон-Гарленда, положил ее себе на колени и открыл на первой странице, не успев даже осознать, что делает. Правая его рука лежала на столе и все еще притворялась перелистывающей учебник по биологии.

Нед опустил глаза и приступил к чтению. Это был дневник. Да и чем еще мог он быть? На вид ему было года четыре, по меньшей мере. Нед думал потом, что именно возраст книжицы и привлек его внимание, когда он увидел, как та торчит из сумки. Эшли таскал ее с собою повсюду, и это заинтриговало Неда.

И все-таки очень странно, что он так поступил. Нед вообще-то не считал себя человеком, сующим нос в чужие дневники.

Читать было трудно. Не из-за почерка – мелкого, но ясного и энергичного; просто слог Барсон-Гарленда был – как бы это сказать? – *темноватым*. Да, вот правильное, умное слово. Слог был темноватым.

С каждой прочитанной Недом строкой дремотный шумок класса отступал все дальше и дальше, пока Нед не остался один на один со словами, чувствуя лишь, как на шее быстро и виновато пульсирует вена.

3 мая 1978

Дидзбури

Первым делом – *выговор*. Если им с толком распорядиться, он приблизит тебя к ним. Тут ты уже прошел половину пути. Но помни, не только выговор – вся манера речи. Следи за тем, как голос исходит изо рта, помни, что апертура рта ограничена, помни о расположении губ, об угле, под которым необходимо держать голову, о том, как ты киваешь, как склоняешь голову, как двигаешь ладонями (ладонями, а не руками, они все же не итальянцы), о направлении взгляда.

Вспомни: всякий раз, когда ты слышал в автобусе, как они произносят твое имя, у тебя кровь прилиwała к щекам. На один мгновенный подпрыг сердца ты уверялся в том, что они, повторяя и повторяя твое имя, разговаривают о тебе. Искренне верил, что они непонятно откуда знают тебя. Считают своим, но только попавшим, вследствие какого-то трагического вывиха судьбы, не туда, куда следует. В самую первую поездку в автобусе, помнишь, они раз за разом повторяли твое имя? Может быть, ты с ними еще подружишься? Как ты тогда разволновался! Они увидели *это* в тебе. Это твое *свойство*. Они узнали его. Неуловимое качество, отличающее тебя от других.

Но потом до тебя дошло. Они разговаривали вовсе не о тебе. Они и понятия не имели, что ты существуешь. Их Эшли был совсем другим. Занятым Эшли...

«А что, Эшли, смешно».

«Эшли, ну просто умора».

Несмотря на первый укол разочарования, потрянувший тебя, словно удар тока, когда ты понял, что говорят они не о тебе, ты был – хотя бы отчасти – согрет гордостью, чувством причастности. День-другой ты даже ходил этак вразвалочку, верно? Может быть, твое имя, имя, которое ты так ненавидел, имя, которое тебя позорило, которое ты считал столь *мелкобуржуазным*, может быть, если *один из них* тоже носит его, может быть, оно, в конце концов, вполне

нормально. А вдруг «Эшли», на самом-то деле, имя *крупнобуржуазное*, а то и – как знать? – *аристократическое*.

Но кто же из них Эшли? Нелепо, но один или два светозарных дня имя это звучало так часто, что ты начал подумывать: может быть, все они – Эшли? Потом тебе пришло в голову, что «Эшли», возможно, используется ими вместо слова «друг», что это *их* аналог уродливого «кореша», который каждый день режет тебе ухо на твоей бетонной спортивной площадке, лежащей всего-то за несколько улиц от их каменного квадратного двора. А потом до тебя дошло еще раз.

Не было никакого Эшли. Эшли не существовало. Было лишь *«actually»*⁹.

А что, действительно смешно. Действительно, ну просто умора.

И ты действительно мог, Эшли, действительно мог всерьез поверить, будто они говорят о тебе? Ты вправду думал, что их ленивые взгляды действительно могут, Эшли, хотя бы скользнуть по тебе? Порой на пути их взглядов могло оказаться твое лицо, но неужто ты на самом деле поверил, будто отличительные черты твоего лица, да и само лицо, могли быть действительно замечены ими, Эшли?

И все же они замечали тебя. Еще как замечали. Ты смотрел на их кожу и волосы и дивился, как это возможно, чтобы они настолько отличались от *нашей* кожи и *наших* волос? От кожи и волос обычных людей. Что это – генетический дар? Ты отмечал ключевой значок румянца на их щеках, жарко-алого, куда более яркого, чем грязновато-кармазиновые кровоподтеки, пятнавшие щеки мальчишек *твоей* школы. Ты отмечал также – у некоторых – такую бледность и прозрачность кожи, что тебе оставалось только гадать: быть может, дело тут в их диете? Или диете их матерей в ту пору, когда они еще болтались у тех в животах.

Но, конечно, глубже всего въелся тебе в мозги Флаг. Флаг Благословенных. *Их* Флаг. Его веяние. Веющая бахрома. Бахрома, которая веяла. Флаг Веющей Бахромы. И то, как он тебя мучил. Какая огромная пустота разливалась в тебе, когда ты смотрел на Флаг. Как во французе, далеко-далеко от дома учуявшем запахок «Голуаз». Как в затерявшемся в Азии англичанине, в чьи уши внезапно всплывает музыкальное вступление к «Арчерам»¹⁰. Потому что ты всегда, в сокровенной твоей глубине чувствовал, что *их* флаг был на самом-то деле – *твоим*. Был бы, если бы не ужасная ошибка. И пустота, что разливалась в тебе, боль, которую ты ощущал, порождались вовсе не завистью или алчностью. В действительности, Эшли, они порождались *утратой*, порождались *изгнанием*. Ты был отлучен от своих – и все из-за Ужасной Ошибки.

Сколько времени проводил ты с ними в автобусе – минут пять? Самое большее шесть. Ты смотрел, как они в него забираются, как бросаются на задние сиденья, иногда чья-то рука опускалась на *твой* подголовник, и близость этой руки к твоей голове заставляла ее кружиться, ты готов был съесть воздух вокруг тебя, столь силен был твой голод по всему, чем они были. По всему, что было у них. Наверное, они нарушали правила. Ускользали в Лондон, не надев школьной формы. Прекрасной, нелепой формы – фраки и полосатые брюки, которым они предпочитали свитера и вельветовые штаны. А Флаг веял, привольно плескался над канотье и цилиндрами.

В последний день, день перед Броском На Север, ты подобрал под сиденьем канотье, так? Он поначалу не сообразил, что сел в автобус, оставив канотье на голове. Они принялись дразнить его, и он, хохоча, в шутливом отвращении к себе самому, метнул канотье в сторону водителя. Ты *почти* открыл рот, собираясь сказать ему, когда он проходил мимо, что шляпа закатилась под сиденье прямо перед тобой, но промолчал. Устыдился твоих северно-лондонских гласных. Ты подобрал канотье и сохранил его. Неглубокую соломенную шляпу с синей лентой. А потом надевал ее, не так ли? У себя в спальне. И сейчас надеваешь. Ты надеваешь

⁹ На самом деле; действительно; по-настоящему (*англ.*) – произносится как «экшэли» или «экшуэли».

¹⁰ Ежедневный радиосериал Би-би-си о жизни вымышленной деревенской семьи.

ее, ведь так, *жалкий, отвратный, никчемный...* И все равно *не помогает*, верно? Волосы твои слишком жестки, чтобы взлетать в воздух, будто тейский лосось или полы костюма с Савил-роу¹¹, не волосы, а *щетина*, болотная поросль, мещанский коврик для ног. На самом-то деле ты не *надеваешь* канотье Дж. Х. Г. Этериджа (отметь эти четыре буквы... *класс*), канотье Дж. Х. Г. Этериджа просто иногда оказывается *на твоей головке*. Точно так же, как этот дневник – на столе, а этот стол – на полу. Пол не несет стол, стол не несет дневник. Тут присутствует пропасть, колоссальная пропасть различия. И именно эта пропасть, именно она составляет причину того... того, что ты так часто сдергиваешь эту соломенную шляпу с головки, ведь так? Ведь так, ты, жалкая кучка ничтожества?

Как же произошла Ужасная Ошибка? Ужасный *ряд* ошибок.

Как могло *твое* сознание возникнуть из *его* заурядного семени и *ее* унылых яйцеклеток? Первой ужасной ошибкой было появление на свет. Эту путаницу, зашедшую так далеко, можно объяснить, прибегнув к идее о переселении душ. В прежних воплощениях ты был одним из *них*, и теперь остаточные воспоминания об этом терзают тебя. Возможно, ты подкидывш или внебрачный плод опрометчивости какого-нибудь герцога, отданный на воспитание этим жалким людям, которых тебе приходится называть родителями.

Прежде всего имя. Эшли. Эшли. ЭШЛИ. Сколько его ни пиши и сколько ни произноси, ничего не поможет. Оно отдает пивным, сигарным смрадом коммивояжеров в притемненных очках и коротких дубленках. «Эшли» к лицу учителю физкультуры – Эшли говорит: «Твое здоровье, кореш» и «Гля-ка, солнышко вышло». Эшли водит «воксхолл»¹². Эшли носит нейлоновые рубашки и штаны из шерсти с полиэфирным волокном, рекламируемые как «брюки для досуга». Эшли обедает в час второго завтрака, а ужинает, когда люди обедают. Эшли говорит «уборная». В Рождество Эшли вешает на окна с двойными рамами китайские фонарики. Жена Эшли читает «Дейли мейл» и украшает телевизор кружавчиками. Эшли мечтает о гудронной подъездной дорожке. Эшли никогда ничего не добывается в жизни. Эшли проклят.

Этим именем наградили тебя мамаша с папашей.

Никогда не говори «папаша и мамаша».

Мама и папа, ударение на последнем слоге. Мама и папа. Хотя, вероятно, это лишнее. Так можно и пудинг перемаслить. (Заметь: *всегда «пудинг» и никогда «десерт» или – упаси господи – «сладкое»...*) Уж лучше «мать» и «отец».

Этим именем наградили тебя мать и отец. И самое криминальное состоит в том, что оно лишь чуть-чуть не дотягивает. Рой, или Ли, или Кевин, или Дин, или Уэйн – вот настоящие имена. «Echt Lumpenproletariat»¹³. Деннис, Десмонд, Леонард, Норман, Колин, Нэвилл и Эрик омерзительны, но хотя бы честны. А что такое *Эшли*? Имя наподобие Шварда, Линдсея и Лесли. Оно *почти* годится. Оно, похоже, старается сгодиться. И это, разумеется, самое грустное.

Американцы такого рода забот не знают, верно? С именами и с тем, что из них происходит. В сущности, единственный Эшли, о котором можно сказать, что в нем присутствовал определенный класс, и был американцем. Эшли из «Унесенных ветром». Он был такой классный, что его даже называли Ишли. В фильме Лесли Швард и не пытался снабдить его американским выговором. Лесли *и* Швард. Два отвратительных имени по цене за одно. Но с другой стороны, Лесли Швард не был англичанином. Он был венгром, и, конечно, ему, только что сошедшему с борта парохода, Лесли и Говард показались высшим шиком.

Слово «шик» долой. Никогда не произноси.

¹¹ Лондонская улица, на которой расположены ателье дорогих мужских портных.

¹² Марка английского легкового автомобиля.

¹³ Законченный люмпен-пролетариат (нем.).

Но ведь *показались*. Показались шиком. Вот в чем загвоздка. То, что людям *кажется* фешенебельным, весьма далеко от того, чем в действительности является Эшли. Ты можешь считать, что серебряные столовые ножи для рыбы – это черт знает какой высший класс, однако никакие ножи для рыбы никакого отношения к настоящему классу не имеют. С таким же успехом можно обернуть их в салфеточки и затем проститься со всякими надеждами на место в приличном обществе.

Однако речь не о *месте* в приличном обществе. Речь о *боли*.

Послушай, некоторые мужчины, взрослея, проникаются ощущением, что попали не в то тело, так? Что внутри них сидит женщина.

Разве не может случиться, что некоторые, взрослея, оказываются патрициями, заточенными в тела плебеев? Знающими, *просто знающими*, что они родились не в том слое общества.

Однако речь не о *классе*. Речь о *голоде*.

Да, но, Эшли, бедный простофиля, неужели ты действительно веришь, будто тебя примут в их мир? Или тебе не известно, что попасть в этот мир можно, только родившись в нем?

Как все это *несправедливо*! Человек может, если захочет, стать американцем. Может стать евреем. Может, подобно Лесли Шварду, стать не просто англичанином, но олицетворением Англии. Он может стать лондонцем, мусульманином, женщиной, мужчиной, даже русским. Но он не может стать... стать... чуть не написал «джентльменом». Да, но правильное ли это слово? Аристократом, шишкой, денди из частной школы... *одним из них*. Ты не можешь стать одним из них, даже если в самой глубине своей ощущаешь себя одним из них, даже если знаешь своим сокровеннейшим «я», что таково твое право, твоя судьба, твоя потребность и твой долг. *Даже если знаешь, что ты лучше них*. И это правда. Ты сыграл бы эту роль с гораздо большим изяществом. Сыграл бы с непринужденностью, опровергающей всякую мысль о том, что ты *вообще* играешь что бы то ни было, если это не слишком затейливо сказано. Сыграл бы естественно, без усилий, с само-собой-разумеющимся выражением. Но тебе отказали в такой возможности, и все из-за ужасной ошибки, какой стало твое появление на свет.

Бросок На Север – вот еще один гвоздь в крышке твоего гроба. Еще одна составляющая Ужасной Ошибки. Папаша твой умер, а мамаша получила место учительницы в Манчестере, в школе для глухонемых. Папаша был офицером. Офицером ВВС, как тебе ни горько в этом признаться, не какого-нибудь шикарного армейского полка. Летать он никогда не летал, так что романтикой тут и не пахло. Но хоть офицер, и на том спасибо. Будь честен, в ВВС ему пришлось вступить простым рядовым. Настоящего офицерского класса в нем не было. Ему пришлось попотеть, чтобы пробиться в офицеры, и, господи, как же тебя это злит, верно? Потом он умер – осложнения на почве диабета, довольно буржуазной, чтобы не сказать пролетарской, болезни, – и ты, мама и твоя сестра Карина перебрались на север. (Карина! Карина, господи ты мой боже! Ну *что* это за имя? Скажи, что дочь герцога Норфолкского зовут Кариной, никто и не поморщится. А вот между фразами «Знакомы ли вы с леди Кариной Фицалан-Говард?» и «Это Карина Гарленд» – дистанция огромного размера.) Ты покинул старый Харроу, лишился близости к ним, к их фракам, цилиндрам, блейзерам и канотье. Тебе было двенадцать. Мало-помалу к тебе начал липнуть северный выговор. Не слишком явственный, так, самая малость, но твой чувствительный, внимательный слух он резал примерно так же, как бросается в глаза волчья пасть. Ты начал произносить «Опе» и «None»¹⁴ так, словно они рифмуются с «Shone» и «Gone», а не с «Shun» и «Gun»¹⁵, ты смягчал «д» в «Ringing» и «Singing»¹⁶. В школе ты рифмовал даже «Mud» с «Good» и «Grass» с «Lass»⁴. И правильно делал, потому что иначе

¹⁴ «Один» и «ни один» (англ.).

¹⁵ «Светил» и «ушел» (англ.), «избегать» и «стрелять» (англ.).

¹⁶ «Звон» и «пение» (англ.).

тебя просто били бы как неженку с юга, но часть этой лингвистической грязи ты притаскивал с собою домой. Впрочем, мамаша ничего не замечала.

А потом настал тот день.

В тот день она пригласила к вам на чай кое-кого из своих глухих учеников. После их ухода ты сказал: боже милостивый, они даже *жестикуют* с манчестерским акцентом. Это ты пошутить хотел. Мама взвилась и обозвала тебя снобом. Она впервые открыто произнесла это слово. Оно повисло в воздухе, и ощущение от него было примерно такое же, как если бы кто-то пукнул в тихом кафе. Я притворился, будто не услышал его, но оба мы понимали – чему-то пришел конец, потому что оба поперхнулись и покраснели. Я принялся возиться со шнурками моих ботинок, а ее внимание целиком поглотила крышка чайника.

Вот тогда я и начал писать все это и... ага, я перешел к рассказу от первого лица. Я написал «я».

Ладно, неважно, все это вскоре станет прошлым. Внимание, я вот-вот присоединюсь к ним. И они ничем не смогут мне помешать. Я умнее их, храбрее и лучше. Я готов к любому экзамену, им не удастся мне отказать.

Но я должен быть готовым к тому, чтобы еще учиться и учиться. Образование, вот что идет в счет. Знание жизни, если вы простите мне эту расхожую фразу. Я добавлю к своей фамилии девичью фамилию матери. Почему бы и нет? *Они* делали это столетиями. Я буду Барсон-Гарленд. По-моему, звучит неплохо. Черт возьми, я бы заделался и трехстволкой. Барсон-Барсон-Гарленд, как вам такое? *Небольшой* перебор, по-моему. Но Барсон-Гарленд – неплохо. Смягчает Эшли, делает это имя почти сносным.

Но прежде всего – выговор. Когда я поступлю, выговор у меня уже будет, так что они ни о чем не догадаются.

Я уже выписал себе – для упражнения:

Не говори «good», говори «gid»¹⁷.

Не говори «post», говори «paste»¹⁸.

Не говори «real», говори «rail»¹⁹.

Не говори «до», говори «day»²⁰.

Не говори...

Стукнула наружная дверь кабинета биологии, и Нед, подняв глаза, увидел за стеклом внутренней двери голову Эшли. Нед захлопнул дневник, торопливо затолкал его обратно в сумку и, плотно прижав кулаки к щекам, тут же сгорбил над учебником по биологии клеток, так что густые волосы его свесились на лицо, точно плотный шелковый занавес.

В этой позе напряженного внимания он и пребывал, когда рядом с ним уселся Барсон-Гарленд. Нед оторвал глаза от учебника и улыбнулся. Он надеялся, что прижатые к лицу кулаки объяснят, отчего он так раскраснелся.

– Ну, что там? – прошептал он.

– Ничего особенного, – ответил Барсон-Гарленд. – Директор хочет, чтобы я произнес речь в Актовый день.

– Черт возьми, Эш! Это же здорово.

– Да ну, ерунда... ерунда.

¹⁷ «Хорошо» и «ценуроз» (вертячка – болезнь у овец) (англ.).

¹⁸ «Столб» и «паштет» (англ.).

¹⁹ «Действительность» и «перила» (англ.).

²⁰ «Иди» и «гомик» (англ.).

«Ерунда» прозвучала у Барсон-Гарленда как «еранда»; он сразу поправился, а Нед постарался сделать вид, будто ничего не заметил. Полчаса назад он и не заметил бы. Во внезапном приливе теплых, дружеских чувств он опустил руку на плечо Эшли.

– Я чертовски горд за тебя, Эш. Всегда знал, что ты гений.

Послышался высокий, брюзгливый голос доктора Сьюэлла:

– Если вы уже усвоили всю информацию, Маддстоун, и вам нечем заняться, кроме болтовни, вы, несомненно, сможете выйти к доске и отметить на этом рисунке хлоропласт.

– Так точно, сэр. – Нед вздохнул и, направляясь к доске, обернулся, чтобы послать Барсон-Гарленду сокрушенную улыбку.

Барсон-Гарленд не улыбался. Он смотрел на высушенный, плоский стебель четырехлистного клевера, лежащий на табурете Неда Маддстоуна. Тот самый стебель, что провел три мирных года между страницами его дневника.

Кто-то с силой ударил в дверь комнаты Руфуса Кейда. После двадцати секунд паники и сквернословия Кейд плюхнулся в кресло, в бешеной спешке окинул взглядом комнату – все чисто – и тоном, в котором, как он надеялся, спокойствие мешалось со скукой, крикнул:

– Войдите!

В дверном проеме показалось сардоническое лицо Эшли Барсон-Гарленда.

– А, это ты.

– И никто иной.

Эшли уселся, с удовлетворенным презрением наблюдая за тем, как Кейд, наполовину вывалившись из окна, выплевывает мятные леденцы, – ни дать ни взять пассажир, блюющий через бортовые поручни парома.

– Чарующий аромат лаванды, казалось, наполнил комнату, – сообщил Эшли. В благожелательном удивлении приподняв брови, он взял со стола баллончик аэрозольного освежителя воздуха и осмотрел его.

Кейд, так и не разогнувшийся, шарил в цветочной клумбе под окном.

– Мог бы и сказать, что это ты.

– И лишить себя наслаждения присутствовать при этой пантомиме?

– Очень смешно... – Кейд выпрямился, держа в пальцах помятый, умело свернутый косячок и прячась с него кусочки сухих листьев.

Эшли не без удовольствия наблюдал за ним.

– Какая деликатность движений. Так археолог обметает землю с только что откопанной этрусской вазы.

– У меня еще и бутылка «Гордонса» есть, – сказал Кейд. – Маддстоун вернул пятерку, которую задолжал мне, представляешь?

– Вполне. Я случайно видел, как гордый папочка вручил ему десятку как раз перед сегодняшним матчем.

Кейд извлек из кармана «зиппо».

– В награду за то, что на следующий триместр его назначили главной свиньей?

– Насколько мне представляется, именно так. А также за то, что он капитан крикетной команды и побил школьный рекорд удачных подач. За то, что он обаятелен, мил, любезен и добр. За то...

– А ты ведь не любишь его, верно? – Кейд набрал полные легкие дыма и протянул косячок Эшли.

– Благодарю. По моему убеждению, ты тоже его не любишь, Руфус.

– Ну да. Ты прав. Не люблю.

– Это, случаем, не связано с тем обстоятельством, что он не включил тебя в первый состав крикетной команды?

– Да и хрен с ним, – ответил Кейд. – Плевать. Просто он... мудака он, вот и все. Воображает себя Господом всемогущим. Высокомерный наглец.

– Тут с тобой согласятся очень немногие. Насколько я понимаю, общественное мнение школы сводится к тому, что наш Неддик неизменно и подкупающе скромен.

– Ага. Ладно. Меня ему не надуть. Он ведет себя так, будто у него все уже в кармане.

– Как оно на самом деле и есть.

– Кроме денег, – с наслаждением уточнил Кейд. – Папаша его гол как сокол.

– Да, – негромко подтвердил Эшли. – Как сокол.

– Я не к тому, что в этом есть что-то дурное, – с вульгарной поспешностью добавил Кейд. – Я хочу сказать... сказать, что деньги не... ну, ты понял...

– Еще не все? Я часто над этим задумываюсь. – Эшли выговаривал слова холодно и четко, как и всякий раз, когда бывал зол, а это случалось с ним часто. Гнев питал его, гнев служил ему одеждой, он был многим обязан гневу. Бестактность Кейда больно уколола его, но злость лишь заставляла думать яснее. – Не сформулировать ли нам это следующим образом: деньги для всего прочего то же, что самолет для Австралии. Самолет не есть Австралия, но он остается единственным известным нам практическим средством ее достижения. Так что, возможно, говоря метонимически, самолет – это, в конечном итоге, Австралия и есть.

– Так что, джину?

– Почему бы и нет.

От досады к удовольствию, и на большой скорости. Эшли находил затруднительным долго сердиться на существ, стоящих на эволюционной лестнице так низко, как Кейд.

– Ну и речь ты закатил... потрясно, – сказал Кейд, вручая Эшли бутылку и стеклянный стакан. Эшли отметил, что бутылка наполовину пуста, между тем как Кейд выглядит наполовину набравшимся.

– Тебе понравилось?

– Ну, ты же ее на латыни произносил, так? Хотя, да. Звучало здорово.

– Теперь впору и расслабиться.

– Может, музыку какую-нибудь включить?

– Какую-нибудь музыку? – Эшли с привередливым и вполне осознанным отвращением оглядел гордость Кейда – полку, плотно забитую записями. – Что-то я никакой музыки тут не наблюдаю. Что такое, к примеру, «Нопку Chateau»? Замок, полный гусей? Кларет, от которого рвать тянет?

– Это Элтон Джон. Прошлогодний диск. Ты наверняка ее слышал. *А, черт!*

Негромкий стук в дверь заставил Кейда замереть. Но прежде чем он успел в очередной раз приступить к привычной процедуре сокрытия улики, в двери обозначился Нед Маддстоун.

– О господи, простите. Совсем не хотел... Эй, ради бога, не беспокойся. Я не... я хочу сказать, какого черта, триместр почти закончился. Отчего же не повеселиться? Я просто...

– Да ладно, присоединяйся, Нед, мы тут, ну, сам понимаешь, маленько празднуем, – вставая, сказал Кейд.

– Блеск! Ты очень добр, только я... видишь ли, я сейчас отправляюсь обедать с отцом. Он остановился в «Георге». Я подумал, БГ, что, может, найду тебя здесь и ты захочешь присоединиться к нам? Э-э... то есть *вы оба*. Конечно. Знаете, последний вечер триместра и все такое.

Эшли улыбнулся про себя, отметив, как неловко Нед включил в их общество Руфуса.

– Мне очень приятно, – уже отвечал Руфус, – но, сам понимаешь. Я, если честно, слегка набрался. Не думаю, что от меня будет много проку. Скорее всего, я вам только помешаю.

Нед в тревоге повернулся к Эшли:

– А ты, Эш, у тебя ничего не намечено?

– Буду польщен, Нед. Правда, польщен. Ты позволишь, я поднимусь к себе и переоденусь во что-нибудь более приличествующее вечеру, – он скорбно ткнул пальцем в облачение, так

и оставшееся на нем после произнесения речи. – Ты иди. Встретимся в «Георге», если ты не против.

– Отлично. Отлично. Просто отлично, – с радостной улыбкой сказал Нед. – Ладно, решено. Что ж, Руфус, тогда до августа?

– Не понял?

– Ты же пойдешь с Падди в плавание?

– А. Да, – ответил Кейд. – Конечно. Абсолютно.

– Значит, увидимся в Обане. Жду не дожусь. Ладно. Тогда пока. Хорошо.

После того как Нед, пятясь, покинул комнату Кейда, в ней повисло молчание. Как будто солнце за тучу зашло, с изрядной горечью подумал Эшли.

И он, Эшли Барсон-Гарленд, вынужден сносить *покровительство* этого безмозглого, лохматого, смазливового, отмытого до скрипа, невинноглазого, безупречно-безупречного, смахивающего на наливное яблочко куска...

Разумеется, он понял все – Эшли совершенно ясно понял все по глазам Неда. Жалобную мольбу о прощении. Дружеское сочувствие. Нед слишком туп, чтобы понять то, что ему стало известно. Если бы кто-то другой из учеников школы залез в дневник, он уже разнес бы прочитанное по всей школе, Эшли уже задрозжали бы, набросились на него всей сворой. Он не пользовался особой любовью и хорошо это знал. Не был *одним из них*. Глаз он не резал, но одним из них не был. Он *слишком* не резал глаз. Эти кретины, сыновья чистокровных кобыл и племенных жеребцов из высшего общества, они были хамоваты, непривлекательны и совершенно не заслуживали дарованных им привилегий. Его, Эшли Барсон-Гарленда, они к себе не подпускали, потому что он был недостаточно туп. Сколько в этом иронии! Впрочем, поскольку в его дневник сунул нос именно Нед, тайне Эшли ничто не угрожало.

И все же, говорил себе Эшли, никакую тайну нельзя считать надежно укрытой, если она известна двоим. Мысль о том, что сведения о его жизни, любой части его жизни, хранятся отдельно от него в голове другого человека, была нестерпимой.

Он уже обдумал возможность того, что намеренно оставил сумку открытой под носом у Неда. Почему, когда его позвали к директору, он не взял сумку с собой? Эшли точно знал, что раньше он никогда не был так небрежен со своим дневником. Прежде всего, он никогда не таскал дневник с собой по школе. Дневник лежал в его комнате, в накрепко запертом ящике письменного стола. Следует отметить также, что рядом с Недом он сидел только на одном уроке – на биологии. Так что же, выходит, он *хотел*, чтобы Нед прочел дневник? Нет, не стоит загонять самого себя в угол. Дешевые психологические домыслы ничего ему не дадут. Куда важнее вопрос: какие именно страницы прочитал Нед Маддстоун? Поскольку Нед – это Нед, рассудил Эшли, он начал с начала. И вряд ли успел зайти слишком далеко. Скорочтение не принадлежало к числу его достоинств.

И что Нед сделал потом? *Помоллся*, надо полагать. Представив это себе, Эшли едва не фыркнул. Да, Нед мог отправиться в часовню, пасть на колени и попросить о наставлении и руководстве. И какого же рода наставление мог предложить Неду его сияющий, рыжеволосый, отмытый разрекламированным шампунем Христос? «Иди и будь Эшли как брат его. Сын мой Эшли напуган и исполнен ненависти к себе. Иди же, и да воссияет любовь и милость Божия на лице его и да исцелится он».

Сострадание. Все тело Эшли напряглось. Ему хотелось впиться Неду в горло. Зубами вытянуть жилы и нервы и выхаркнуть их на пол. Нет, не так. Этого мало. Ему нужно не это. Такой сценарий всего лишь оборвал бы мучения Неда. Эшли требовалось нечто куда более изящное. Он испытывал злобу незнакомой ему разновидности, злобу, которую он не сразу смог точно определить. Ненависть, вот что это такое.

Кейд прикончил остатки джина.

– Ты что, и вправду собираешься обедать с его предком? – спросил он.

– Собираюсь, еще как собираюсь, – благосклонно ответил Эшли.

– А меня он вовсе и не намеревался приглашать, – сказал Кейд. – Мудак.

Он двинул кулаком по подлокотнику кресла, выбив облачко пыли.

– Мать его, за кого он меня держит? Ведет себя, как учитель или еще кто. Такой, сука, весь *добропорядочный*. Манжа говенная.

– Манжа? – переспросил Эшли. – Это мне нравится. Манжа. Временами ты меня удивляешь, Руфус.

– Еще дернешь? – Кейд протянул ему бычок, в котором осталось всего полдюйма длины. – Я хотел сказать «ханжа».

– Да нет, не хотел. Может, и *думал*, что хотел, однако мозг не проведешь. Ты ведь, разумеется, читал «Психопатологию обыденной речи»?

– Херня, – отозвался Кейд.

Эшли встал.

– Ладно, я, пожалуй, пойду переоденусь. Какая радость – вылезти из этой сковывающей движения дряни.

Тут он соврал. Мало что доставляло Эшли радость большую, чем воскресная форма – брюки в полоску, фрак и цилиндр.

– Жопа, – сказал Кейд. – Мудацкая, распромудацкая жопа.

– Ну что же, спасибо, дорогой.

– Да не ты. Маддстоун. Что он, мать его, о себе воображает?

– Вот именно, – отозвался, выходя, Эшли. – Приятных сновидений.

«Пошел ты, – рывкнул про себя Руфус Кейд, разваливаясь, когда закрылась дверь, в кресле. – Ты тоже жопа, Эшли Бастард-Гарленд. Взглянем правде в лицо, все мы жопы. Ай! – Последние четверть дюйма самокрутки обожгли ему нижнюю губу. – Все жопы, кроме Неда, мать его, Маддстоуна. Что обращает его, – довел Кейд до своего сведения, – в самую главную жопу из всех».

На лицах Пита и Хиллари застыло невыносимо самодовольное выражение, неизменно возникавшее после ночи любви. Порция пыталась как-то изменить атмосферу, перемещаясь по кухне с большими против обычного шумом и раздражением, хлопая дверцами шкафов с такой силой, что столовые приборы в них тренькали в ответ, точно гамелан. Неистовое тосканское солнце било в окно, освещая в середине кухни большой стол, за которым Пит отрезал от длинного батона ломти хлеба.

– Этим утром, – говорил он, – мы полакомимся «прошутто»²¹ и моцареллой из молока буйволицы. Имеется также вишневый джем и джем абрикосовый, а Хиллс сварит нам кофе.

– С тех пор как мы здесь, мы только этим каждое утро и лакомимся, – сказала, присаживаясь со стаканом апельсинового сока в руке, Порция.

– Знаю. Разве это не замечательно? Мы с Хиллс поднялись сегодня пораньше, сходили в деревню за свежим хлебом. Ты только понюхай. Давай. Понюхай.

– Пит! – Порция оттолкнула протянутый ей батон.

– Кто-то тут встал сегодня не с той ноги...

Порция взглянула на отца. Расстегнутая цветастая рубашка, браслет из слоновьего волоса, деревянные сандалии и, с содроганием отметила она, тесные бордовые плавки, подчеркивающие каждую выпуклость и каждый изгиб его гениталий.

– Ради бога... – начала было она, но замолкла при шаркающем появлении двоюродного брата.

²¹ Острая копченая тонко нарезанная ветчина.

– Ага! – весело произнес Пит. – Оно проснулось. Оно проснулось и нуждается в кормежке.

– О, хай! – воскликнула Хиллари, которая обзавелась странной привычкой слегка американизировать свою речь, когда обращалась к Гордону. Это тоже выводило Порцию из себя.

– Чем сегодня займемся? – спросил Гордон, сдвигая стоящую на скамье рядом с Порцией хозяйственную сумку и усаживаясь.

– Ну, – бодро откликнулась Хиллари, тоже садясь и ставя на стол кофейник, – мы с Питом подумывали, не заглянуть ли на «палио»²².

– Ну уж нет, Хиллари, – сказала Порция с безнадежным выражением взрослого человека, пытающегося втолковать что-то ребенку. – Помнишь, мы познакомились с семейством, которое было там на прошлой неделе? Жокей слетел с лошади прямо перед ними, и у него из ноги торчала голая кость. Этого рассказа даже ты забыть не могла.

– Да, но в Италии не одно только «палио», дорогая, – сказал Пит. – Как раз этим вечером состоится «палио» в Лукке. Не такое эффектное и опасное, как в Сиене, но, как меня уверяли, довольно занятное.

– Лукка? – встрял уже набивший рот хлебом Гордон. – А где это, Лукка?

– Недалеко, – ответил Пит, наливая кофе в большую чашку, в которую он уже плеснул горячего молока. Сверху плавали ошметки пенки. Порцию от одного взгляда на них затопило. – Я так или иначе хотел туда попасть. Говорят, это мировая столица оливкового масла. Можно посмотреть, как его выдавливают. Думаю, утром мы могли бы поплавать, почитать, а после не спеша тронуться в путь – поедem проселками, позавтракаем где-нибудь в холмах. Как вам такой план?

Пенка прилипла к его усам. Порция никогда еще так не стыдилась отца. Как Хиллари удается терпеть на себе подобное существо, и прежде было для Порции загадкой. Теперь же, когда она знала, что в мире существуют мужчины, подобные Неду, загадка эта приобрела обличье вечной космической тайны.

– Мне нравится, – сказал Гордон. – А тебе, Порш?

– Целиком и полностью.

Порция воздержалась от того, чтобы обреченно пожать плечами. Вести себя с родителями на манер избалованного ребенка еще куда ни шло, но в глазах Гордона она старалась выглядеть умудренной жизненным опытом. На самом-то деле ей хотелось сказать: «То есть в Лукке мы появимся, когда все кафе и магазины уже закроются, так? И, как обычно, пять часов прослоняемся по совершенно пустому, безлюдному городу, ожидая, когда его жители проснутся после сиесты. Восхитительный план, Пит».

Вместо этого она удовлетворилась замечанием:

– В Лукке жил Арнольфини.

– Чего? – спросил Гордон.

– Есть такая картина Ван Эйка, – сказала Порция, – называется «Бракосочетание Арнольфини». Арнольфини, изображенный на ней, жил в Лукке. Он был купцом.

– Да? Откуда ты знаешь такие вещи?

– Не помню, должно быть, читала где-то.

– А я никогда не изучал историю искусств.

Сообразив, что фраза: «Я тоже, но вовсе не обязательно «изучать» что-нибудь, чтобы знать о нем» – прозвучит высокомерно, Порция прикусила язык. По правде сказать, она в последние дни стала совершенно нетерпимой. А Гордон ей нравился. Нравилось спокойствие, с которым он принимал все случившиеся с ним ужасы. Вроде бы и она ему нравилась – легко

²² Скачки, традиционно проводящиеся в июле-августе в городах Италии. Самые первые проходили в Сиене.

ведь, думала Порция, понравиться тому, кто нравится тебе. Это не тщеславие, обычный здравый смысл.

– Ага, сдается, я слышу музыкальное дребезжание «фиата», – сказал Пит, клоня голову в направлении подъездной дорожки. – Быть может, почта из Англии.

Порция вскочила. Вся мрачность мигом слетела с нее. Как наркоман нуждается в дозе, так и она нуждалась в письме.

– Я схожу, – вызвалась она, – мне нужно практиковаться в итальянском.

Хиллари крикнула ей в спину:

– Порш, ты же знаешь, результаты будут известны только на той неделе! И потом, миссис Уоррелл обещала позвонить нам сюда, если появится что-нибудь похожее на письмо от экзаменационной комиссии...

Но Порция уже выскочила из дома в резкую белизну дня. Нужны ей результаты экзаменов! Да ей вообще ничего не нужно. Только письмо от Неда, пусть от Неда будет письмо.

– Buongiorno, Signor Postino!²³

– Buongiorno, ragazza mia.²⁴

– Come va, questo giorno?²⁵

– Bene, grazie, bene. E lei?²⁶

– Anche molto bene, mille grazie. М-м... una lettera per mi?²⁷

– Momenta, momentino, Signorina. Eccola! Ma solamente una carta. Mi dispiace, cara mia.²⁸

Открытка, всего лишь открытка. Справившись с разочарованием, Порция дрожащей рукой приняла ее. Он же в плавании, твердила она себе. На письма нет времени. А кроме того, взглядевшись в открытку, Порция, ощущавшая все нарастающее упоение, увидела, что Нед исписал ее самым мелким почерком, на какой только был способен, да еще и вывел адрес виллы красными чернилами, чтобы тот выделялся на фоне крохотных синих буковок, покрывавших почти каждый квадратный миллиметр карточки. Он ухитрился втиснуть узенькие вереницы слов даже между строками адреса. Это было лучше, чем получить письмо, – увидеть, сколько усилий потратил он на открытку. В тысячу раз лучше. Порцию переполнил такой восторг, такая любовь, что она едва не разрыдалась.

– Ciao, bella!

– Ciao, Signor Postino!

Порция перевернула открытку и, прикрыв ладонью глаза от солнечных бликов, изучила фотографию на лицевой стороне. Маленький рыбацкий порт поблескивал под лучами солнца куда более мягкого, чем то, что слепило сейчас ее. «Гавань Тобермори», – гласила выведенная старомодным желтым курсивом надпись. Снимок, похоже, сделали годах в пятидесятых. Маленький грузовичок «моррис-минор» стоял у мола. Тут Порция заметила, что среди теснящихся в гавани рыболовных судов притулилась нарисованная красными чернилами яхточка. Корпус ее украшали нервная улыбочка и глаза, придававшие яхте испуганный вид, какой приобретает локомотивчик «Томас», когда ему случается затесаться в общество больших, сердито вззирающих на него локомотивов. С неба на яхту указывала стрелка, а в самом верху картинки было написано: «Пиратский корабль «Неддик» стал на якорь».

²³ Добрый день, синьор Постино! (миг.)

²⁴ Добрый день, радость моя (миг.).

²⁵ Как прошел день? (миг.)

²⁶ Хорошо, спасибо, хорошо. А у вас? (миг.)

²⁷ Тоже очень хорошо, большое спасибо. Нет ли письма для меня? (миг.).

²⁸ Минутку, минутку, синьорина. Вот! Только одна открытка. Мне очень жаль, дорогая (миг.).

– Новости от красавца мужчины? – Гордон вышел под солнечный свет с «Миром по Гарпу»²⁹ и чашкой кофе в руках. Опустившись в шезлонг на краю террасы, он сквозь темные очки уставился на Порцию.

Та кивнула, не пытаясь скрыть свое счастье. Гордон, потянувшись правой рукой через левое плечо, почесал лопатку. Кожа на локтевом сгибе, баюкавшем, пока Гордон почесывался, подбородок, выглядела почти черной от загара – пока он не выпрямил руку.

– Он ведь где-то плавает, да?

– В Шотландии.

– Никогда не ходил под парусом.

– Я тоже. Меня бы наверняка более чем вывернуло наизнанку.

В последнее время Порция все чаще произносила слова «более чем». Они часто встречались в письмах Неда, и Порция воспринимала этот оборот как его собственность. Произнести их было все равно что надеть его старую рубашку – уютную, наполняющую душу Порции гордостью.

– Угу. – Гордон покивал – серьезно, словно Порция высказала некую глубокую, интересную мысль. Затем поднял с пола террасы флакон с маслом для загара. – Не намажешь меня?

– Давай...

Положив открытку на стол, Порция взялась за флакон.

Волна кокосового аромата поднималась от ее ладоней, пока она потирала их одну о другую. Нанося масло на кожу Гордона, она заметила в волосах на его пояснице серебристые нити, перистые, завивающиеся, – все это походило на поле пшеницы после грозы, – на плечах, по которым волосы змеились, сходясь к шее, они были темнее. Порция чувствовала под ладонями их хрупкую шероховатость. Грудь Гордона заросла плотными черными завитками, да и щетина на подбородке была гуще, чем у Пита, бывшего вдвое старше. Дело не в национальных особенностях. Пит такой же еврей, как Гордон. Не исключено, что это как-то связано с английским климатом. Порция вспомнила Неда, его гордое заявление, что за лето он «попробует» отпустить усы.

Она плеснула немного масла в ямку на спине Гордона. Нед был юношей крепким, однако она не думала, что у него под кожей перекачиваются такие же плотные и твердые мышцы, как у Гордона. После полудня Гордон неизменно упражнялся в тенистом мощеном дворике за виллой, отжимаясь, подтягиваясь, приседая, – Пита это откровенно забавляло, а Хиллари неуклюже изображала безразличие.

Порция следила за Хиллари, следившей из кухни за Гордоном, между тем как Пит следил за Порцией, следившей за следящей Хиллари, и Порция знала, что Пит думает о собственных вялых, обвислых мускулах и придумывает социо-политическое объяснение, способное оправдать их состояние и даже обратить таковое в предмет гордости.

В Нью-Йорке Гордон входил в школьные команды по теннису и лакроссу³⁰. Он страшно возмутился, узнав, что в Англии в лакросс играют почти исключительно девушки из частных школ. «И он совершенно прав, – писал Порции Нед. – Лакросс – игра тяжелая, грубая, требующая большой физической силы. Я ее боюсь до смерти. А потому и считаю, что лучше оставить ее вам, девицам».

Порция улыбалась, представляя себе будущее. Воображение рисовало ей дни, когда она будет втирать лосьон для загара в спину Неда, – в еще предстоящие им каникулы, в местах, которые еще будет время навоображать. Странно, думала Порция, она до сих пор совсем не знает его тела. Ни разу не видела его в шортах или в плавках. Никогда не видела обнаженным.

²⁹ Роман современного американского писателя Джона Ирвинга.

³⁰ Индейского происхождения игра в мяч – две команды по 10 человек пытаются с помощью клюшки забросить мяч в ворота противника.

Однажды, когда они целовались, Порция почувствовала, как что-то прижалось к ее бедру. При этом воспоминании кровь жарко прихлынула к лицу и она внутренне захихикала, припомнив наивность, заставившую ее поначалу решить, что у Неда что-то лежит в кармане. Быть может, на следующей неделе, в квартире его отца, они поднимутся наверх. Быть может...

– А где эта «Гавань Тобермори»?

– Эй! – Порция вырвала открытку из рук Гордона. – Это же личное! О нет!

Она в ужасе глядела на открытку. Собственный ее масляный палец, мазнув по открытке, уничтожил целую строчку, тщательно выписанную Недом.

– Нет! – взывала Порция. – Она пропала! Пропала! Как ты *мож*? Ты... ты говнюк!

– Послушай, извини. Я только...

Но Порция, из глаз которой брызнули слезы, уже летела к дому. Гордон проводил ее взглядом, пожал плечами и поправил защитного цвета шорты – эрекция, когда лежишь на животе, сопряжена с большими неудобствами.

Интересно, думал Гордон, уж не влюбленность ли Порции так его распаляет? Он считал, что и сам влюблен не меньше, просто фраза «Она меня возбуждает» казалась ему более точной. Даже большинство английских ребят, как он заметил, скажут скорее «Она мне нравится», чем «Я ее люблю».

Откровенность Порции, выплеснувшей на Гордона свои секреты, едва он появился в Лондоне, сбила его с толку сильнее, чем непривычная еда, непонятный выговор и невразумительная география города. Он ожидал от английских Фендеманов холодной скрытности и скованной сдержанности – отец обычно ссылался на эти качества, когда принимался обосновывать незыблемую логичность своего переезда из Англии в Америку. Откровенность Порции не только смутила Гордона, она еще и уязвила его. Как будто ее чувства гораздо глубже чьих бы то ни было еще. Сама ее способность так свободно и выразительно описывать их мешала Гордону прямо и честно рассказать что-нибудь о себе, и это его злило. У него тоже имелись чувства, сейчас, например, он чувствовал, что ему хочется схватить эту целку, завалить на постель и насандаливать, пока у нее глаза на лоб не полезут.

Во всем этом присутствовала безумная несправедливость. Порция задвинула его так далеко в угол, что места у него осталось не больше, чем у дикого зверя в клетке. Что совершенно нечестно. Он не какой-нибудь там. Он тоже мужчина, чувствительный, с мужским чувствительным сердцем. Он может быть обаятельным. Может быть романтичным. Но она же не дает ему такой возможности. Мистер Чудо, мистер Совершенство поглотил все ее существо. Гордон по глазам Порции видел, что всякий раз, когда она тепло говорит с ним, она на самом деле говорит с Недом. И все ее разговоры о Неде привели к тому, что эта поганая, педрильная, англо-гойская жопа теперь не выходила у Гордона из головы. В него словно бы паразит вселился, и звали паразита Недом Маддстоуном.

Если б отец и мать умерли годом раньше, Гордон познакомился бы с Порцией как раз в то время, когда она была готова отдаться кому угодно. Но вышло так, что он запоздал. Ко времени его появления дверь для него уже захлопнулась. Так что теперь он испытывал желание вышибить ее и разнести в щепу. Все, что ему требуется, – получить *шанс*. Шанс мягко постучать и заставить Порцию открыть, но для него дверь остается запертой, а ключ отдан Неду Маддстоуну.

Неду, мать его, Маддстоуну.

Гордон не считал себя дурным человеком, но в последнее время его стали посещать нехорошие мысли. Он утратил способность думать о потрясении, испытанном им, когда отец свалился на пол, рыча от боли и хватаясь за горло. Он забыл обо всех чувствах, какие питал к матери, сохранив лишь воспоминание о душившей его потребности побыстрее убраться из

больницы на свежий воздух – подальше от исхудалой женщины с желтой кожей, трубкой в носу и испуганными глазами.

Во время перелета Гордон еще раз обдумал свое новое положение.

«Во-первых, они атеисты, – говорил он себе. – Значит, по субботам не нужно будет таскаться в синагогу. Во-вторых, они антисеионисты. Не придется в августе переться в кибуц. В-третьих, они англичане, так что я буду избавлен от разговоров о моих «чувствах» – наподобие тех, что мне пришлось терпеть после смерти мамы. В-четвертых, они неприлично богаты. Тетя Хиллари из семьи мультимиллионеров, розничная торговля или что-то еще, стало быть, от сортирной ямы вроде Бруклина – ямы, в которой еще и постреливают, – я отныне избавлен. У меня будет своя машина. Дважды в год мы станем ездить на отдых. Барбадос там или Гавайи».

А что вышло?

«Вот твой велосипед. Мы не поклонники автомобилей».

«Э. П. Томпсон читает сегодня в фабианском обществе лекцию о культурном империализме, у нас сорок пять минут, чтобы добраться туда».

«Мы арендовали виллу в тосканских холмах. Порш хочет посмотреть в Сиене полотна Дуччио, а Хиллис собирает материал для нового романа».

«Гордон, давай поговорим о том, что ты чувствовал, когда умерли Роза и Лео, хорошо?»

«Тебе страшно понравится. В походах ДЯР³¹ всегда так весело. К тому же они имеют очень большое значение».

Херовую шутку сыграла с ним жизнь. Но хуже всего...

«У меня есть возлюбленный...»

«Его зовут Недом...»

«Вот! Это он, сидит в самом центре, с крикетным мячом в руках...»

«Смотри, Гордон! Это он сам себя нарисовал, когда заскучал на уроке французского...»

«Ты посмотри на его улыбку...» «Смотри, еще одно письмо...» «Смотри...»

Нед, мать его перемать, Маддстоун.

Нед стоял, перегнувшись через планшир «Сиротки», брызги летели ему в лицо. Море поблескивало под усеянным звездами небом, точно мокрый уголь. Сегодня океан принадлежал Неду.

В своих каютах спали Падди Леклер, школьный инструктор по парусному спорту, и пятеро других членов команды. Когда стало ясно, что из-за нескольких лишних часов, проведенных на Джайентс-Козуэй³², идти обратно в Шотландию придется ночью, Нед сразу вызвался нести вахту. В прошлом он мог бы сделать это из чувства долга или товарищества, однако сегодня знал – им руководило желание побыть в одиночестве, подумать о Порции и просто насладиться существованием. В ночи, подобной этой, на привольно идущей под парусами яхте начинает казаться, что весь мир принадлежит тебе. На суше, думал Нед, человек неизменно стоит ниже животных, он всегда оторван от природы. Автомобили и вообще машины, может, и хороши, но они отпугивают все живое. А в море можно общаться с природой, *не истощая* ее. Надо будет написать об этом Порции в следующем письме. Любовь обратила его в подобие философа. Кто-нибудь поумнее, тот же Эшли Барсон-Гарленд, счел бы это неизмеримо глупым, но ведь Эшли невдомек, что Неду нравится быть несколько глуповатым. Иногда это очень удобно. В конце-то концов, ум Эшли нисколько не облегчает ему жизнь. Скорее, наоборот – делает глубоко несчастным. А Неду, в его нынешнем состоянии несокрушимой восторженности, несчастье представлялось таким же непостижимым и чуждым, как прыщи или плохая координация движений – ну вот когда хочешь взять одну вещь, а рука почему-то хватается дру-

³¹ «Движение за ядерное разоружение», организация английских сторонников мира.

³² «Дамба гигантов», мыс на севере Северной Ирландии.

гую. Нед знал, на свете есть люди, страдающие от этих напастей, но мог лишь дивиться тому, что бедолаги не избавляются от них и не живут потом в свое удовольствие.

Быть влюбленным – значит принадлежать к сообществу тех, к кому судьба надумала отнестись с особым вниманием. Прежде Нед и вообразить не мог, что можно получать такое наслаждение просто от того, что живешь. Его успехи в спорте, приятная внешность, покладистый характер, популярность – он и на миг не думал о них с удовлетворением, – его все это скорее смущало. А вот то, что он Влюблен, Влюблен с самой что ни на есть большой «В», переполняло Неда такой гордостью, что он себя почти не узнавал. В миллионный раз он пустился в догадки – неужели Порция действительно испытывает такие же чувства? Возможно, ее чувства сильнее. А возможно, – сильнее его. Возможно, она думает, что ее чувства сильнее, – и потому никогда не поверит, как сильно...

Внезапно донесшийся снизу голос заставил его удивленно обернуться.

– Маддстоун!

Вглядевшись, Нед различил на корме чью-то высунувшуюся из люка голову.

– Да? – крикнул он в темноту. – Кто это?

– Спустись вниз, Маддстоун.

– Руфус? Это ты?

– С Падди неладно. Он как-то странно хрипит.

Спрыгнув в люк, Нед на ощупь двинулся к капитанской каюте.

Тело Падди Леклера, освещенное лишь кормовым огнем да мерцающим светом шкалы рации, грузно осело в кресле у штурманского стола, лицо капитана уткнулось в карты.

Нед с опаской приблизился к нему.

– Шкипер?

– Он умер? – шепотом спросил Кейд.

– Не знаю, – ответил Нед и протянул руку к шее Леклера. – Шкипер! Падди! С вами все в порядке?

Тут он ощутил под пальцами удары пульса и облегченно выдохнул.

Леклер вдруг громко закашлялся и сделал попытку встать. Нед с ужасом увидел длинную нить окрашенной кровью слюны, свисающую изо рта на заваленный картами стол.

– Это ты, Нед? Ты?

– Да, шкипер, это я. С вами все хорошо?

– Э-э, да нет, не сказал бы... кто это с тобой? – Леклер глянул Неду за спину, в глазах его появился испуг.

– Сэр, это всего лишь Руфус, сэр.

– Это ты, Руфус?

– Да, шкипер.

Дыхание вырывалось из груди Леклера короткими залпами, лицо его блестело от пота.

– Ладно, – просипел он. – Окажи мне услугу, юный Руфус. Сходи на корму, к рундуку по правому борту.

Руфус, совершенно белый, кивнул.

– Помнишь, я тебе показывал рундук, в котором лежат сигнальные ракеты? Умница. Соседний с ним заперт на висячий замок. Вот ключ... – Леклер подтолкнул к Руфусу лежащую на столе связку ключей, – вон тот, золотистый. Открой рундук и принеси мне бутылку «Джеймсонса»...

– Шкипер, вы уверены?.. – спросил Нед. – Если вы нехорошо себя чувствуете...

– Я знаю, что мне нужно, значит, уверен, – сказал Леклер. – Ты, юный Нед, останешься здесь. Давай, Руфус. Да побыстрее.

Руфус, развернувшись, с шумом полез по трапу на главную палубу.

– Вот колода, – буркнул Леклер. – Из этого моряк никогда не получится.

Нед положил ему руку на плечо.

– Падди, не сердитесь на меня, но я правда думаю, что пить вам не стоит. Что бы в вас ни разладилось, я уверен, вам вовсе не станет лучше от...

– Успокойся, Нед. Нет там никакого виски, да и ключ я ему дал не тот. Просто так у нас будет немного времени. – Леклер хохотнул, радуясь собственной хитрости, и тут же снова закашлялся, обрызгав лицо Неда слюной и кровью.

– О господи, шкипер. Послушайте, я вызову по рации вертолет.

– Подай мне вон ту сумку, – словно не слыша его, сказал Леклер.

– Эту?

– Эту самую, дружок, давай ее сюда. А теперь, Нед, смотри мне в глаза.

Нед посмотрел Леклеру в глаза, которые помнил веселыми и голубыми. Теперь они были налиты кровью, наполнены вызванными кашлем слезами.

– Я могу доверять тебе, Нед, правда?

– Конечно, шкипер.

– Тогда, черт подери, ответь мне, мальчик! – Леклер схватил Неда за запястье и с силой стиснул его. – Что для тебя дороже всего на свете? Есть что-нибудь, о чем ты думаешь вот в эту минуту?

Нед кивнул – смеющаяся Порция встала перед его глазами.

– Хорошо. Теперь поклянись этой самой святой для тебя вещью, что ты сделаешь то, о чем я тебя попрошу, и ни единой живой душе об этом не скажешь. Ни единой!

Нед снова кивнул.

– Вслух! Поклянись вслух.

– Клянусь, Падди, я клянусь.

– Хорошо... хорошо. Я тебе верю. Тогда вот что... – Леклер порылся в сумке. – Возьми этот конверт. Он запечатан. Если я не доберусь до берега живым и здоровым, доставь его. Лично. Он должен попасть прямо в руки... – Леклер жестом велел Неду приблизиться и прошептал ему на ухо имя и адрес. Жаркое дыхание его шумом отдавалось у Неда в ушах. – Ну вот! Запомнил?

– Думаю, да.

– Повтори. Только шепотом.

Прикрыв ладонью рот, Нед прошептал Леклеру на ухо:

– Лондон, ЮЗ-1, Херон-сквер, тринадцать, Филип А. Блэкроу.

– Запомнил. Не забудешь?

– Нет, никогда. Обещаю.

– Ну, значит, все. Запрячь конверт подальше, чтобы никто его не увидел, и никому о нем ни слова. И не забудь имя с адресом. В конце концов, не такая уж трудная и страшная просьба, верно?

Леклер отпустил руку Неда и, хватая ртом воздух, откинулся на спинку кресла. Нед смотрел, как с лица его сходят те немногие краски, какие оно еще сохраняло.

– Можно, я теперь вызову по рации помощь, шкипер?

– Мы подойдем к берегу часов через пять-шесть. Да и время теперь уже мало что значит.

– Но что с вами? Что случилось?

– Всего-навсего приступ, – негромко ответил Леклер, улыбаясь и закрывая глаза. – Прощальный поцелуй рака. Всего-навсего.

Руфус Кейд вернулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Нед, с великой нежностью погладив умирающего по голове, набросил ему на плечи спальный мешок.

За утро Эшли Барсон-Гарленд написал семьдесят писем. Семьдесят спокойных, умиротворяющих и – хотя то была лишь его оценка – прекрасно составленных писем. Писем к старым

леди, неспособным разобраться в изменениях закона о пенсионном обеспечении, писем к безработным бездельникам, предпочитающим взваливать вину за отсутствие у них самоуважения на правительство, писем к исступленным фашистам, считающим, что сэр Чарльз Маддстоун «питает слабость к преступникам», писем к бесконечно печальным личностям, решившим открыть члену парламента глаза на Христа.

Сколько, однако же, шума создает население страны! Сколько у него навязчивых претензий на особое к себе внимание. Сколько некомпетентности и обид. Воистину жизнь политика состоит из лжи, лжи и еще раз лжи. Не из той, о которой думают люди, не из череды невыполненных обещаний и циничных опровержений, на которые так любят жаловаться газеты и скептически настроенные завсегдатаи баров, нет, тут речь о лжи совсем иного толка. Позволять людям думать, будто их ожесточенные, невежественные мнения важны и полезны, – вот что, на взгляд Эшли, представляло собой величайшую ложь. Казалось, в стране живут миллионы людей, не понимающих, что причины их проблем кроются не в той или иной несправедливости либо социальном недуге, но в узости их собственного самосознания, вследствие которой они готовы винить кого угодно и что угодно, но только не свои горечь и раздражительность; потакание этой в высшей степени ложной иллюзии – вот это и было верхом нечестности. Есть люди, уверенные, что жить полной жизнью им мешают наводнившие Англию азиаты, существование королевской семьи, интенсивность уличного движения под окнами их домов, козни профсоюзов, власть, которую присвоили себе бессердечные работодатели, нежелание здравоохранительных служб всерьез принимать состояние их здоровья, коммунизм, капитализм, атеизм, – да все, что угодно, но только не собственная их пустота, слабоумная неспособность толком взяться хоть за какое-нибудь, черт подери, дело. Эшли хорошо понимал разочарование, которое испытывал Калигула при мысли, что у народа римского не одна-единственная шея. Если бы только у англичан был один зад на всех, думал Эшли. Каким пинком он бы его наградил!

На столе справа от него лежали незапечатанные конверты с ожидающими подписи письмами. Каждое было изящно отпечатано на парламентской писчей бумаге с зеленой решеткой палаты общин поверх имени сэра Чарльза – отпечатано чисто, безупречно, совершенно. Эшли передвинул все четыре стопки, поместив их слева от пресс-папье, – так сэру Чарльзу, когда он появится, будет удобнее подписывать. Внимание к подобного рода деталям внушало Эшли гордость за себя. Он был идеальным служащим – интеллигентным, вдумчивым, дотошным и скромным, – и в данный момент это его вполне устраивало.

Эшли извлек из стоявшего у ноги кейса свой дневник. Осталось заполнить всего пять с половиной страниц – а там понадобится новая книжица. Интересно, удастся ли найти такую же? Магазин на площади Св. Анны, в котором он купил эту, закрылся два года назад. Другой цвет обложки его, разумеется, устроил бы, но сама книжица должна быть точно такой же. Если удастся найти их в продаже, надо будет купить по меньшей мере десяток – хватит до конца жизни. Хотя хватит ли? Эшли произвел в уме быстрые вычисления. Два десятка – так будет вернее. «Непобедимая» – гордо значилось на ее обложке. Название времен Империи, из тех, коими наделялось все подряд – от настенных писсуаров до карманных ножей. Он полистал дневник, с удовлетворением отметив, что почерк его стал более уверенным и изысканным. Последняя запись была сделана пять недель назад. Втиснуть в оставшиеся страницы ему предстоит немало. Он начнет, словно бы продолжая последнее свое предложение: «В настоящую же минуту мне придется выбросить из головы это бесстыдное вторжение, поскольку необходимо заняться речью, которую я должен произнести от имени выпускников».

30 июля

Неужели со времени завершения триместра прошло всего пять недель? Речь моя стала, разумеется, торжеством остроумия, эрудиции, вкуса и – пожалуй, можно выразиться и так

– чувства такта. Как таковую, ни единый человек в зале ее не понял, даже те, кто с грехом пополам разбирает латынь. Родители, учителя и ученики знали ровно столько, сколько требуется, чтобы представить себе, насколько умна моя речь, и по завершении ее наградить меня смущенными, сочувствующими, ободряющими улыбками, которые англичане привычно приберегают для тех, кто страдает от неизлечимого рака или наличия мозгов, – причем наличие последних – вещь, на их взгляд, куда более прискорбная. В конце концов, люди, в большинстве своем, способны представить себе, что больны раком, но не способны и близко подобраться к представлению о том, что у них есть мозги. Нед познакомил меня с отцом, и тот отвесил мне поклон, вернее, ближайшее из позволительных в наши дни подобие поклона.

– Ваших родителей нет здесь сегодня, мистер Барсон-Гарленд?

– Моя мать учительница, сэр, – ответил я, получая удовольствие и от слова «сэр», и от того, что сэр Чарльз тоже получает от него удовольствие. Удовольствие доставляли мне и неловкость, испытываемая Недом, и возможность наблюдать, как он старается придумать, что бы такое ему сказать, не привлекая внимания к моей матери и семье вообще.

– А, прекрасно, – отозвался его отец. – Она, должно быть, очень гордится вами.

На прощанье Нед легонько, по-приятельски ткнул меня кулаком в бок. Он, разумеется, знает, какая такая учительница моя мать. И может быть, догадался даже, что я попросил ее здесь не появляться.

«На Актовый день приезжает всего горстка родителей, – написал я ей, – тебе будет скучно».

Подразумевал же я следующее: «Посмей только явиться и опозорить меня своим ярким ситцевым платьем, дешевыми духами и отвратительной шляпкой – и я от тебя отрекусь».

Смею сказать, мать прочитала все между строк, поскольку матерям это свойственно, и смею сказать, я того и хотел, поскольку это свойственно сыновьям.

Вытерпев тошнотворные поздравления и рюмку хереса, поднесенную мне директором («А, вот и наш карманный Демосфен»), я улизнул после завтрака на крикетный матч – и лишь затем, чтобы оказаться свидетелем того, как отличился Нед Маддстоун, продемонстрировав стиль, неоспоримо превосходящий тот, что присущ команде бывших выпускников. Всякий, кто заговаривал со мной, поглядывал одним глазом на Неда у очередных воротец, и я просто нутром чувствовал, как мой собеседник сравнивает рослость, блондинистость и улыбчивость Неда с моей приземистостью, брюнетистостью и хмуростью. Смерд этих сравнений заставил меня вернуться обратно в школу, и я заглянул к Руфусу Кейду, купавшемуся в зловонной – марихуана, водка и обиды – духоте своей комнаты. И вот что интересно. То ли из желания сделать мне приятное, то ли по какой-то иной причине, но он признался, что терпеть не может Неда Маддстоуна. Я уже давно ощутил его неприязнь к Неду и прямо спросил о ней. То был инстинкт. И я оказался прав. Он *ненавидит* Неда. Стыдится этой ненависти и оттого ненавидит еще пуще. Замкнутый круг отвращения и обид, слишком хорошо мне знакомый.

И кто же тут появился? Разрумянившийся, торжествующий, в запачканной ало-зеленой фланели, разгоряченный своей победой, – кто, как не сам Нед Маддстоун? Он пригласил меня отобедать с его отцом в «Георге». Чувство вины, ясно читавшееся в его глазах, было почти смешным. «Ты можешь считать себя аутсайдером, – говорили эти глаза, – но я считаю, что ты один из нас».

Ни черта. Если бы он считал меня Одним Из Нас, он сказал бы: «Эшли, зануда ты этакий, как насчет того, чтобы пообедать со мной и отцом в «Георге»?» – а он вместо того засуетился и пригласил также и Руфуса, умудрившись сделать болезненно очевидным, что приглашает только из вежливости. Руфус пойти отказался, сославшись на то, что пьян, и это, полагаю, усугубило его ненависть к Неду. Я же приглашение принял, причем с совершенно искренним удовольствием.

Я надел единственный мой костюм.

– Очень приятно, что вы присоединились к нам, мистер Барсон-Гарленд. – Сэр Чарльз пожал мне руку на манер, принятый при дворе. – Как глупо, не могу удержаться, чтобы не называть вас так. Нед не сообщил мне вашего имени.

– Эшли, сэр, – сказал я, а Нед, смутившись, зарылся в меню.

Я много говорил за обедом. Не так много и не так напористо, чтобы показаться человеком, тянущим на себя одеяло, но достаточно, чтобы произвести впечатление.

– Похоже, вы основательно разбираетесь в политике, – заметил за сыром сэр Чарльз.

Я пожал плечами и развел руки в стороны, как бы желая сказать, что, хоть я, может, и подобрал на берегу несколько занятных камушков, однако, как и Ньютон, сознаю, что передо мной простирается океан непознанного.

– Не уверен, что это сможет вас заинтересовать...

Вот тут он и предложил мне поработать у него летом политическим аналитиком.

– Большая часть этой работы в действительности похожа на секретарскую, – предупредил он. – Однако я думаю, что она дает ни с чем не сравнимую возможность разобраться в том, как действует система. Если за лето у вас все сладится, я буду рад сохранить это место за вами до вашего возвращения в конце осени. Нед сказал мне, что в августе вы тоже будете поступать в Оксфорд.

– Отец, какая блестящая идея! – восторженно вскричал Нед (как будто она принадлежала не ему! За какого же идиота он меня принимает?). – Я самое большое разочарование папы, – добавил он, обращаясь ко мне, – мне так и не удалось проникнуться интересом к политике.

– Сэр Чарльз, – произнес я. – Не знаю, с чего начать, чтобы поблагодарить вас...

– Глупости, глупости, – отмахнулся сэр Чарльз. – Если вы такой хороший работник, как мне представляется, благодарить придется мне. Стало быть, предложение принято?

– Понимаете, сэр, я живу в Ланкашире. У меня нет никаких... – Ланкашир, как же. Именно так я обычно и говорю. Любой «шир» звучит лучше, чем Манчестер.

– Надеюсь, вы согласитесь пожить на Кэтрин-стрит? Дом невелик, зато в нем уже более ста лет обитают политики. Там есть даже собственный парламентский звонок³³, хотя вам он особо досаждать не будет. Палата летом не заседает. Но если вы останетесь с нами и на следующий год, он будет трезвонить так, что у вас возникнет желание сломать его. Верно, Нед? – И он, глянув на сына, приподнял бровь, подразумевая, видимо, какой-то семейный анекдот.

– В детстве меня этот звонок здорово доставал, – пояснил Нед, отвечая на мой вопросительный взгляд. – Палата заседала в самое причудливое время, и звонок то и дело будил меня в два-три утра. Как-то ночью я забил между колоколом и язычком кусок картона. Папа пропустил голосование и нажил кучу неприятностей.

– Я провел в офисе парламентского партийного организатора четверть часа, которые никогда не забуду, – сказал сэр Чарльз.

Нед притворным шепотом сообщил:

– Отец и сейчас говорит, что это было покруче того, что гестапо творило с ним во время войны.

– И это чистая, абсолютная правда, уверяю вас.

Так Нед впустил меня в свою жизнь. Жизнь, в которой небрежное упоминание о парламентском звонке и неприятностях с гестапо так же привычны, как ссылки на расписание автобусов и на эпизоды из «Далласа» в моей семье. Если бы я не увидел четырехлистного клевера, выпорхнувшего из моего дневника, подобная щедрость согрела бы и очаровала меня. Но поскольку я точно знал, что ее породило, я и на секунду не обманулся.

³³ Проведенный в дом члена парламента электрический звонок, извещающий о начале голосования.

Мне подыскивали в Кенсингтоне квартиру, которую я делю с аналитиком из Центрального совета Консервативной партии. Квартиры в Кенсингтоне являются, похоже, основной валютой этого мира. Они внушают ленивое чувство чего-то...

Между двумя звуками, с которыми открылась и закрылась наружная дверь, Эшли успел быстро сунуть дневник в кейс, пододвинуть к себе копию «Хансарда»³⁴ и начать переписывать в блокнот одну из речей сэра Чарльза.

Он услышал, как кто-то поднимается по лестнице, и спросил себя, не покажется ли странным, что он не вышел навстречу. Может, притвориться, что ничего не слышал? Нет, пожалуй, не стоит.

– Нед? – не оборачиваясь крикнул он. – Это ты, Нед?

– Эш!

Эшли рывком встал и, когда Нед в обществе девушки и юноши примерно одних с ним лет – темноволосых, миловидных и очень загорелых – вошел в комнату, успел состроить на лице мину приятного удивления.

– Это Порция. Вообще говоря, вы уже встречались.

– Как поживаете? – с благопристойной серьезностью осведомился Эшли. – Мы и вправду встречались. В «Хард-рок кафе», хотя вы меня вряд ли помните – ваш взгляд, насколько я тогда заметил, был устремлен в другом направлении.

– Конечно, помню. Хай!

Порция пожала ему руку. Вытереть ладонь о брюки Эшли не успел и потому внимательно глядел в лицо девушки, пытаясь понять, как она отреагировала на влажную липкость его ладони.

– А это Гордон, кузен Порции.

– Как поживаете? – спросил Гордон.

Эшли с не лишенным удовольствия интересом отметил, что англичанка Порция довольствовалась простым «Хай!», между тем как американец Гордон предпочел формальное «Как поживаете?». Его всегда забавляли попытки людей произвести впечатление, полностью противоположное их подлинной сути.

– Удивлен? – спросил Нед, неловко похлопав Эшли по плечу. Он тоже загорел, но его загар был слегка золотистым, обычным для человека с очень белой кожей, – как если бы более густой загар представлял собой нечто чужеродное, исполненное дурного вкуса.

– Ну, твой отец говорил, что ты не вернешься до завтра.

– Плавание завершилось, э-э, раньше намеченного. – На миг лицо Неда приобрело озабоченное выражение. – Так что мы решили уехать из Глазго ночным поездом.

– Вот как? – удивился Эшли, которому все это было превосходно известно.

– Так или иначе, – Нед повеселел, – я оказался в Лондоне как раз вовремя, чтобы встретить Фендеманов в Хитроу. Неплохо, а?

– Какой приятный сюрприз для них, – подтвердил Эшли.

Гордон стесненно оглядывал комнату. Эшли показалось, что тот чувствует себя лишним. И то сказать, электрические искры, проскакивавшие между Недом и Порцией, даже у Эшли вызвали чувство, почти похожее на смущение.

– Мой старик завалил тебя работой? – спросил Нед, с усилием отрывая взгляд от улыбки Порции.

– Захватывающей! По-настоящему захватывающей.

– Так ты работаешь у отца Неда? – спросил Гордон.

– Да. На самом деле мне уже следовало бы... хотя, постой, у меня идея... не хочешь пойти со мной? Мне нужно зайти в палату. Заодно я ее тебе и показал бы.

³⁴ Официальный стенографический отчет о заседаниях палат английского парламента.

– В палату?

– В палату общин. Парламент. Конечно, только если тебе это интересно...

– Еще бы! Отличная мысль.

– Блестящая! – Нед расплылся в радостной улыбке. – Эш, как мило с твоей стороны! Уверен, Гордон захочет увидеть место, с которого все началось. Колыбель демократии и все такое.

– Ну и прекрасно. Я только кейс прихвачу, – сказал Эшли, раздраженно поежившись от дурацкого замечания Неда. «Колыбель демократии», подумать только! А то он не знает, что американцы считают колыбелью демократии Вашингтон, так же как французы – Париж, греки – Афины, а исландцы – разумеется, Рейкьявик, и все ровно на тех же основаниях? Типичное бездумное высокомерие.

– Э-э, мы бы остались здесь, если никто не против, – продолжал между тем Нед. – Порции нужно быть в четыре на собеседовании насчет работы. В Найтсбриджском колледже. Я, пожалуй... ну, в общем, отвезу ее туда.

– И что, хорошая работа?

– Название у нее пышное, но все сводится к тому, чтобы учить иностранцев говорить «Эти помидоры слишком дороги», – ответила Порция. – Хотя платят там больше, чем в кафе «Хард-рок».

Они с Недом уже держались за руки. Каждая секунда, проведенная ими вне объятий друг дружки, была для них мукой – это прямо-таки бросалось в глаза. Эшли решил, что мука эта порождается, по большей части, традиционными затруднениями любовников, разобраться в которых они по тупоумию не способны. Им хотелось утаить свою страсть, но при этом они не сознавали, что им так же отчаянно хочется выставить ее напоказ.

Эшли подумал, что его сейчас вывернет наизнанку.

– Я решил, что самое лучшее – оставить их наедине, – сказал он, закрывая входную дверь дома. Взгляд, брошенный на окно верхнего этажа, делал его, как он полагал, в достаточной мере похожим на светскую сплетницу. – Мы и двух шагов не успеем сделать, как они уже предадутся известным шалостям.

Гордон не ответил, но, поджав губы, уставился в землю. Эшли с любопытством вглядывался в него. Что это – американский пуританизм или нечто более серьезное?

Господи боже! Едва эта мысль стукнула Эшли в голову, как он понял, что все так и есть. И едва не расхохотался. Кузен Гордон влюблен в Порцию, с непререкаемой уверенностью сказал он себе.

Неотъемлемая, считал Эшли, особенность интеллекта, которую обычно упускают из виду, состоит в том, что он наделяет человека интуицией более глубокой и инстинктами более тонкими, чем те, что отпущены всем прочим. Дуракам приятно тешить себя иллюзией, что они пусть и неумны, но зато способны возмещать отсутствие ума *чувствами и озарениями*, которые интеллектуалам не по плечу. Бред, думал Эшли. Именно ложные верования такого рода и делают дураков дураками. Истина же в том, что человек поумнее обладает бесконечно большим объемом ресурсов, позволяющих ему приходиться к заключениям, минуя промежуточные шаги, – а это и называется интуицией. В конце концов, что такое «интеллект», как не способность проникать в суть вещей? Римляне понимали это, как и многое другое, куда лучше бриттов.

Они свернули за угол и по Кэтрин-стрит пошли к Вестминстеру. Гордон, решив, похоже, что его молчание могут принять за грубость, заговорил. Он рассказал Эшли, как в аэропорту дядя с тетей практически навязали его общество Неду и Порции.

– Почему бы вам, ребята, не поехать вместе автобусом в город? – сказала Хиллари. Перекусите где-нибудь. Может, в кино сходите. О багаже мы позаботимся сами.

Пит сунул в ладонь Гордона десять фунтов и похлопал его по плечу, а Порция недовольно закусил губу, между тем как Нед изо всех сил пытался изобразить радость.

– Да, тактика знакомая, – сказал Эшли. – Кстати, если тебе не хочется, тащиться в палату общин вовсе не обязательно. Большинство людей считают ее наиболее точным подобием ада. И я отлично их понимаю.

– А американцев туда пускают?

– Мне достаточно будет помахать вот этим, – ответил Эшли, извлекая свой пропуск и стараясь не выглядеть при этом излишне довольным.

– Думаешь заняться политикой?

– Возможно. Возможно.

– Как Нед?

– Не понял?

– Нед ведь пойдет по стопам отца, верно?

– Вот уж не думаю, – возразил весьма позабавленный Эшли. Ему представился Нед Маддстоун: как он в белом, запачканном травяной зеленью крикетном костюме отбрасывает со лба прядь волос и поднимается с правительственной скамьи, чтобы произнести речь о колебаниях курса валют и процентных ставках. – Политика и Нед не очень-то сочетаются.

– Да? А Порция мне говорила другое.

– И что же?

– Она сказала, что Нед намерен со временем занять в парламенте место отца.

– Что ж, может быть, и займет, – спокойно откликнулся Эшли, но в душе его разгоралась привычная злоба. Неужели Нед всерьез полагает, что место в политике может переходить от отца к сыну, как письменный стол или трость со складным сиденьем? А что, с горечью подумал он, вероятно, может; в конце концов, это ведь Англия. Пока же лето слишком драгоценно для Неда, чтобы тратить его на политику: нужно еще успеть потрахаться, и поиграть в крикет, и потрахаться, и походить под парусом, и потрахаться, и потрахаться, – вот и пусть Эшли, манчестерский ломовик, повкалывает в этом году секретарем, как тебе это, папа, старичок? Успеет еще поразвлечься и после Оксфорда, как по-твоему, папочка, дорогой? А в один прекрасный день, когда я буду «готов войти в дело», я вызову к себе доброго старого Эшли и назначу его своим политическим помощником. Бедняга Эшли, он будет мне так благодарен... пока же пускай получится. Пусть наберется какого ни на есть опыта. Самое милое дело! Давай пригласим его на обед, предложим работу, он будет так благодарен. Да и меня перестанет мучить совесть за то, что я прочел его неприятный дневник, все-таки, надо признать, я поступил нехорошо. Подкинем ему денег, и будет он у нас письма печатать да конверты лизать – и даже сказать не успеет: Надменная Сучья Жопа Из Высшего Распроекти Его Класса...

– С тобой все в порядке?

– М-м? Да, нормально, нормально... просто задумался. – Эшли рассеянно улыбнулся Гордону, словно пробуждаясь от несколько эксцентричных грез. – Итак, – весело произнес он, – ты, стало быть, впервые увидел великого Неда?

Гордон неуверенно кивнул:

– Великого Неда?

– Прости мне этот всплеск сарказма. Нед очень популярен в школе. Он чрезвычайно одарен, однако... хотя нет, не слушай меня. Все это не мое дело.

– Постой, он встречается с моей кузиной, так что мне нужно знать все, что о нем следует знать, – сказал Гордон. – Порция думает, что у него даже говно не воняет. Но ты же учился с ним в школе. Ты его знаешь дольше, чем она.

– Ну, скажем так: мне бы не понравилось, если бы с ним встречалась *моя* кузина. Это трудно объяснить. Большинство находит его очаровательным, честным, обладающим всеми качествами, какие делают мужчину привлекательным. Мне же он кажется холодным, надмен-

ным и лживым. Ого... – Эшли поднял взгляд на Биг-Бен, начавший отбивать половину часа. – Двенадцать тридцать. Если ты не против, давай заглянем в паб за углом. Я договорился там позавтракать с другом. В палату, коли будет желание, можно заглянуть и потом.

– Погоди. Послушай, если я тебе помешал...

– Ничуть. Руфус тебе понравится. И ты ему. Вернее, твои десять фунтов. На эти деньги можно купить немало выпивки.

– Ну ладно, если...

– Я пошутил. Руфус богат как Крез. Уверен, ты обнаружишь, что у вас много общего.

Нед лежал в постели и смотрел в потолок. Рядом, прижав к щеке кулачок и свернувшись, точно котенок, спала Порция.

Он еще не рассказал ей о ночном кошмаре на борту «Сиротки», о виденной им смерти Падди Леклера. По дороге из Хитроу, в автобусе, они беседовали почти как чужие, Нед старался, чтобы Гордон не чувствовал себя лишним, да и Порция казалась в присутствии кузена странно скованной. Неду не хотелось пугать ее, однако случившееся его потрясло. Он никогда раньше не сталкивался со смертью, ответственностью и страхом лицом к лицу, а тут они свалились на него все сразу.

Возвращаться в Шотландию с мертвецом на борту было занятием малоприятным. Да еще и Руфус Кейд повел себя как-то странно. Представлялось естественным, что именно Нед поведет яхту обратно в Обан, и все, кроме Кейда, согласились с тем, что это правильно и разумно. Нед безо всякого тщеславия признавал, что он лучший во всей команде моряк, да и разве то, что Леклер доверился ему перед смертью, не доказывало его право командовать судном? Конечно, он не мог поделиться этим секретом ни с Кейдом, ни с кем другим. В течение пяти часов, до самой зари, на всем их печальном обратном пути Кейд угрюмо придирался к каждому решению Неда и при всяком удобном случае из кожи вон лез, стараясь подорвать его авторитет. Прежде с Недом такого не случалось, и потому он чувствовал недоумение и обиду.

И только когда они шли через гавань Оба-на к молу, на котором их ожидали, посверкивая голубыми огнями, машины «скорой помощи» и полиции, Нед понял, в чем дело.

Кейд, смущаясь, подошел к нему.

– Послушай, Маддстоун, извини, – глядя в палубу, сказал он. – Наверное, все это сбило меня с катушек. Я не хотел придираюсь к тебе. Конечно, ты и должен был нами командовать.

Нед коснулся его руки.

– Да черт с ним, Руфус, забудь об этом. С учетом всех обстоятельств, ты вел себя блестяще.

Весь остальной день прошел как в путаном сне – показания в полиции, телефонные звонки, бесконечное ожидание, – но в конце концов Нед получил разрешение отправиться со всей командой в Глазго, чтобы поспеть на ночной эдинбургский поезд. Быть начальником – дело тяжелое.

Голова Порции шевельнулась на его груди, и Нед обнаружил вдруг, что смотрит ей прямо в глаза.

– Привет, – сказал он.

– Привет.

И они рассмеялись.

Эшли смотрел, как Гордон приканчивает второй свой «Гиннесс».

– Ты же видел ее, Эшли, – сказал Гордон, рыгнув и отерев с губ пену. – Она прекрасна. Ты бы назвал ее прекрасной?

– Безусловно, Гордон, – ответил Эшли, у которого лежало в кейсе несколько старых греческих антологий, представлявших ему куда более возбуждающими.

– И вообще, – продолжал Гордон, – в моей стране за чужаков не выходят. Просто не выходят, и все. Не положено, неправильно.

Руфус сидел, хмуро уставясь в пинту «Директора», которую он уже сдобрил тремя тройными виски.

– За чужаков? А кто у вас там чужаки?

– Гордон и Порция евреи, – пояснил Эшли. – Выходить за людей другой веры у них не принято.

– А я католик, – сообщил Руфус. – И у нас то же самое.

– Да она в мою сторону и не смотрит, – пожаловался Гордон. – Ни хера не смотрит. Вы понимаете, о чем я?

– О том, что она на тебя не смотрит? – сказал Руфус.

– Точно. Вот ты понял. Не смотрит, и все.

– Ясно. Тебя это, наверное, чертовски расстраивает.

– Еще бы!

– Я бы тоже расстроился, точно тебе говорю.

Эшли был рад, что Гордон с Руфусом так быстро нашли общий язык, он боялся только, что не сможет справиться с двумя пьяными сразу. Эшли хоть и старался в последнее время узнать о вине все, что о нем следует знать, однако спиртное и уж тем более опьянение – свое или чужое – не доставляло ему никакого удовольствия. Впрочем, он этого не показывал и умел, не производя впечатления чопорного трезвенника, растянуть одну порцию выпивки на срок, за который его собутыльники успевали управиться с несколькими.

– Так что у вас там случилось, Руфус? Говоришь, Леклер умер на обратном пути?

– Господи, Эш, я же тебе рассказывал. Он отправил меня за бутылкой сраного «Джеймсона», а когда я вернулся, Святой Нед уже баюкал его в своих объятиях, воркуя, как затраханый голубок. Я и охнуть не успел, как он назначил самого себя капитаном. А об меня он вообще разве что ноги не вытирал. Да еще имел наглость сказать потом, что, «с учетом обстоятельств», я вел себя блестяще. Подразумевая, естественно, что это *он* блестяще вел себя – с учетом обстоятельств. Подонок. Ну, правда, ему-то и пришлось потом возиться с полицией, со «скорой» и со всеми бумагами. Ха! Спорим, об этом он не подумал. – Руфус с трудом поднялся на ноги. – Ну и ладно. Хрен с ним. Еще выпьем?

– Отчего же нет, – согласился Эшли. – То же самое, пожалуйста. Джин с тоником и льдом, но без лимона.

– А эта штука и впрямь до нутра пробирает, – сказал Гордон, протягивая Руфусу пустой стакан. – Только на этот раз, пожалуй, хватит полпинты.

– Полджина, пинту «Гиннеса» и лимон. Без льда, но с тоником. Все понял. – Руфус, пошатываясь, двинулся к бару.

– Он и вполтину не так пьян, как прикидывается, – сказал Эшли. – Отец у него алкоголик, вот он и примеряет на себя эту роль.

Гордон некоторое время смотрел вслед удаляющемуся Руфусу, а затем повернулся к Эшли:

– А тебе нравится видеть людей насквозь, верно?

– Ну, – ответил немного удивленный Эшли, – судя по твоему замечанию, тебе тоже.

– Верно. Туше. Так скажи мне наконец, о ком вы тут толковали?

– В школе он был кем-то вроде инструктора по парусному спорту, – ответил Эшли с таким выражением, словно речь шла о местном ассенизаторе. – Все эти яхтсмены очень любили его – на свой невыносимый манер, друзья-товарищи, обычное дело в яхт-клубах. Он все время организовывал в каникулы плавания для тех, кому они по карману. Или для тех, кому это неопишимо скучное занятие пришлось по душе, – добавил он.

– В Штатах я слышал о случаях, когда эти деятели оказывались извращенцами, – помнил Гордон. – Ну, знаешь, на яхте со школьниками вокруг Карибских островов. Чего там еще делать-то?

– Да, однако, не думаю, что тут было то же самое. Что бы ты ни читал об английских частных школах, в них подобные вещи случаются крайне редко.

– И куда они отправились?

– Отплыли с запада Шотландии, потом, кажется, обогнули Джайентс-Козуэй и вернулись назад. А в прошлом году... куда вы плавали в прошлом году, Руфус?

Руфус вернулся и, держа в зубах пакетик арахиса, сгружал стаканы на стол.

– М-м?

– В прошлом году. Куда ходили члены парусного клуба?

– Хукин Голод.

– Куда?

– Хук-ван-Холланд³⁵. – Руфус разорвал зубами пакетик и подтолкнул его по столу поближе к Гордону. – Из Саутуолда через Северное море на Флашинг. Потом по каналам до Амстердама и тем же манером назад.

– И, насколько я знаю, Леклер никогда к тебе не приставал? Не угрожал нежному цветку твоей девственности?

– Пошел ты!

– Просто пришло вдруг в голову.

– Вообще-то я не прочь вернуться туда, – сказал Руфус. – В Амстердам то есть. У них там девки голые в окнах, а травы больше, чем ты за всю жизнь видел.

– Ты покуливаешь? – спросил у Руфуса Гордон.

– А Папа Римский, по-твоему, срет в лесу? – промурлыкал Эшли, беря арахис.

Гордон понизил голос и взволнованно спросил:

– Слушай, не подкинешь мне немного? Я, как сюда попал, так ни разу и не покурил. Однажды сказал об этом Порции, но она посмотрела на меня, как на кучу дерьма.

– Да на здоровье, – Руфус дружелюбно взмахнул рукой. – Ты чем балуешься, травкой или гашишем?

– Травкой, – ответил Гордон.

– Без проблем. По правде, у меня с собой очень серьезная...

При мысли, что разговор сведется к наркотикам, сердце Эшли упало. Куда забавнее было слушать, как Руфус и Гордон жалуются друг другу на Неда. К сожалению, Неду и наркотикам в одном разговоре встретиться не дано. Если только...

– А пожалуй, занятно было бы посмотреть, – сказал Эшли, чопорно прихлебывая джин, – как Маддстоуна уводят люди из отдела наркотиков. Славенький скандал, немного позора, небольшое такое крушение для нашего святого и его папочки – вам не кажется? И только *представьте*, как будет шокирована наша милая Порция.

Руфус хихикнул, а у Гордона отвисла челюсть.

– Он ведь собирался отвести ее... как называется это место? Что-то нелепо претенциозное... Найтсбридж-колледж, вот, – мечтательно продолжал Эшли. – Предположим, полиция узнает, что мерзкий торговец наркотиками уже много дней околачивается около колледжа, снабжая студентов запрещенным зельем. Вообразите картину: нашего золотого мальчика уводят в наручниках.

– Да, но как...

– Куртка его осталась висеть внизу, на перилах лестницы. Все, что от нас требуется, – это небольшая ловкость рук.

³⁵ Мыс в Северном море, Нидерланды.

Стоя голышом у окна своей спальни, Нед смотрел на Лондон. Через час с небольшим придется спуститься вниз, приготовить омлет. Если б не это, разве он не остался бы в спальне до скончания дней? Оба они могли бы остаться здесь навсегда. Да только Порции надо подготовиться к собеседованию. Но после они вернутся сюда и поднимутся прямо к нему в комнату. Конечно, завтра утром в город возвратится отец, к его приезду надо будет привести себя в презентабельный вид, но до завтра еще бездна времени. Он ждет не дождется возможности познакомиться Порцию с отцом, и, конечно, они мгновенно подружатся. Черeda годов, которые они проведут все вместе, открылась Неду. Порция и папа на Рождество, в родильном доме, на отдыхе. Улыбки, смех, взаимное расположение, любовь... ему хотелось плакать от восторга.

Взгляд его задержался на троице, шагавшей по улице. Эшли и Гордон. И с ними кто-то еще. Нед улыбнулся, узнав неуклюжую походку Руфуса Кейда. Где это они повстречались? В любое другое время он с радостью принял бы их, однако...

Нед, отроду не отличавшийся необщительностью или эгоизмом, подкрался к двери и осторожно повернул ключ в замке. Звук, как ни был он слаб, разбудил Порцию.

– Ты запираешь дверь?

– Боюсь, что так, – прошептал Нед. – Они возвращаются. Думаю, стоит притвориться, что мы уже ушли.

Порция смотрела на приближавшегося к ней Неда, и острое счастье пронизывало ее, как ветер пронизывает траву, она задрожала и покрылась мурашками от наслаждения, показавшегося ей почти болезненным.

– Не покидай меня никогда.

– Не бойся, – прошептал Нед, забираясь в постель.

Снизу донесся голос Эшли:

– Мы вам не помешаем. Я тут позабыл кое-что. А вы, молодые люди, наслаждайтесь обществом друг друга.

Приглушенный смех Гордона и Руфуса показался им упоительным. Как чудесно, когда над тобой посмеиваются!

Нед вздохнул, ощущая полнейшую удовлетворенность и радость. Есть ли во всей вселенной человек, столь неизмеримо везучий? Он молод, здоров, счастлив, и нет у него во всем мире ни горестей, ни врагов.

2

Арест

Нед задрожал и поплотнее завернулся в одеяло.

– Извините, – сказал он. – Как вы думаете, не может ли кто-нибудь принести мою одежду? Стоявший в дверях полицейский перевел взгляд с потолка на Неда:

– Замерз, что ли?

– Нет, но, видите ли, на мне только...

– Середина лета, так?

– Да, конечно, но...

– Ну и сиди.

Нед смотрел на стол, на свернутую из фольги пепельницу и пытался заставить мозг сосредоточиться на происходящем.

В четыре он отвез Порцию в колледж. Они позвонили у озорчиво заурядной двери на пятом этаже здания, стоящего на узкой улочке на западе «Скоч хаус»³⁶.

– Я поболтаюсь снаружи, – сказал он, целуя ее на прощанье так, словно они расставались бог весть на какой срок. – Как освободишься, зайдем в «Харродз»³⁷, отпразднуем мороженым с содовой.

Он провел на тротуаре с полчаса, весело прикидывая, хороший ли это знак, что Порция застряла там так надолго. Будучи оптимистом, Нед, естественно, решил, что хороший.

К двери подошла компания молодых не то испанцев, не то итальянцев (точно сказать Нед не мог). Они уже возились с замком, когда Нед, повинувшись внезапному порыву, решил войти вместе с ними. Вид респектабельно одетого спутника вполне мог склонить чашу весов в пользу Порции.

– Простите, – сказал он, – вы не будете против, если я войду с вами?

Молодые люди в замешательстве уставились на него. Если таков средний уровень знания английского здешними студентами, Порции придется здорово потрудиться.

– Я... ПРОСТО... СПРАШИВАЮ... НЕ... МОГЛИ... БЫ... ВЫ... – начал он, но не успел еще договорить, как все и случилось. Появившись словно бы ниоткуда, двое мужчин схватили Неда под руки и потащили к машине. Последнее, что услышал слишком изумленный, чтобы вымолвить хоть слово, Нед, когда его заталкивали на заднее сиденье, – это хриплый хохот каких-то людей, стоявших в тускло освещенных дверях ближайшего паба.

– Ч-что вы делаете? – спросил он. – Что вы делаете?

– Ты бы лучше спросил себя, что *ты* наделал, – ответил, когда машина, взвизгнув покрывками, рванулась с места, один из мужчин. Пошарив в кармане Недовой куртки, он вытащил оттуда сложенный из фольги пакетик.

В полицейском участке его обыскали с большей доскональностью. Все, кроме трусов, унесли на проверку, а Неда оставили в этой вот комнате, где он и сидел уже больше полчаса, пытаясь понять, что же могло произойти. Когда дверь наконец откроется и кто-нибудь придет сюда, решил Нед, он настоит на телефонном звонке отцу. Полицейские ведь не знают, что имеют дело с сыном члена кабинета министров. Сэр Чарльз был человеком мягким, неизменно вежливым, однако во время войны он командовал бригадой, а после шесть лет руководил небольшой, но все-таки частью Империи. В Судане ему приходилось выносить смертные приговоры и присутствовать при их исполнении. Занимая пост министра по делам Северной

³⁶ Магазин в Лондоне, торгующий товарами шотландского производства.

³⁷ Один из самых фешенебельных и дорогих универсальных магазинов Лондона.

Ирландии, он увеличил срок интернирования без суда и санкционировал применение разного рода крайних мер. «Сильная инфекция требует сильнодействующих средств», – сказал он однажды Неду, не вдаваясь, впрочем, в подробности. С таким человеком шутки плохи. Неду стало почти жалко полицейских. Нет, он, конечно, заверит отца, что обходились с ним хорошо и обиды он ни на кого не держит.

И вот дверь комнаты для допросов наконец-то отворилась.

– Привет, сынок.

– Здравствуйте, сэр.

– Я сержант уголовной полиции Флойд.

– Если вы не против, я хотел бы позвонить...

– Сигарету?

Флойд подтянул стул, уронил на стол пачку «Бенсон энд Хеджес», зажигалку и сел напротив Неда.

– Нет, спасибо. Я не курю.

– Не куришь?

– Нет.

– Пол-унции травки в кармане – и ты не куришь?

– Простите?

– Поздно для «простите», ты не находишь? Таскать наркоту для собственного удовольствия – это одно, а вот толкать иностранным студентам... Судье это не понравится.

– Я не понимаю.

– Ну конечно, не понимаешь. Сколько тебе лет?

– Семнадцать с половиной.

– Семнадцать с половиной? *С целой половиной?*

Стоявший у двери полицейский присоединился к веселью.

– Ну да... – сказал Нед, чувствуя, как в глазах копят слезы. Что уж он такого особенного сказал? Ведь это правда.

Флойд посерьезнел, закусил губу.

– Ладно, забудем о наркотиках. Скажи-ка мне, что для тебя означают слова «внутри, внутри, внутри»?

Нед беспомощно смотрел на него:

– Простите?

– Не такой уж и трудный вопрос. «Внутри, внутри, внутри». Объясни, что это такое.

– Я не понимаю, о чем вы говорите. – Неду казалось, что он тонет. – Прошу вас, я хочу позвонить отцу.

– Хорошо, начнем с начала. Имя?

– Так, все замолчали, вот и умницы.

Нед и сержант обернулись, как один человек. В дверях стоял, ласково улыбаясь, одетый со скромным изяществом мужчина лет двадцати с небольшим.

– А вы, черт возьми, кто такой? – разгневанно осведомился Флойд.

– На пару слов, сержант, – сказал, поманив его пальцем, молодой человек.

Флойд открыл рот, намереваясь что-то сказать, но нечто в ласковом выражении лица молодого человека заставило его передумать.

Дверь снова закрылась. Нед слышал, как в коридоре сержант Флойд воскликнул с почти неуправляемым гневом:

– При всем моем уважении, сэр, я не вижу необходимости...

– При всем моем уважении, Флойд, таков порядок. Уважение. Вот что нам действительно нужно. Так, а это я, с вашего разрешения, заберу. Бумаги получите позже.

Еще раз открылась дверь, молодой человек заглянул в нее и сказал:

– Вы не могли бы пройти со мной, старина?

Нед вскочил и последовал за ним по коридору, мимо разгневанного сержанта Флойда.

– Можно я позвоню? – спросил Нед.

– Какая глупость с их стороны, – словно не слыша вопроса, сказал молодой человек, – раздеть вас почти догола. А, вот и мистер Гейн.

Он указал на широкоплечего мужчину в хлопчатобумажной куртке, прислонившегося к пожарной двери в конце коридора. В руках мужчина держал кипу аккуратно сложенной одежды, поверх нее лежали подошвами вверх туфли.

– Это мои вещи! – сказал Нед.

– Верно. Только, боюсь, сейчас у нас нет времени на туалет. Все улажено, мистер Гейн?

Широкоплечий кивнул и толкнул решетчатую дверь. Молодой человек спустился вместе с Недом по нескольким ступенькам во двор и повел его к стоящему в углу, на самом солнцепеке, зеленому «роверу».

– Давайте забирайтесь на заднее сиденье. Мы с вами устроимся там, а мистер Гейн пусть ведет машину, хорошо?

Нед поморщился, когда его голые ляжки коснулись обшивки сиденья.

– Немного жжется? Сожалею, – весело произнес молодой человек. – Надо нам было оставить машину в тени, а, мистер Гейн? Ну да ладно, замки на автоматику, мистер Гейн. Нечего нам тут мешкать.

– Куда мы едем? – спросил Нед, накрываясь одеялом, чтобы защитить и ноги, и собственное достоинство.

– Моя фамилия Дельфт, – услышал он в ответ. – Как у производителя этой кошмарной бело-голубой плитки. Оливер Дельфт, – он протянул Неду руку. – А вы?..

– Эдвард Маддстоун.

– Эдвард? Вас и дома называют Эдвардом? Или как-то по-другому – Эд, Эдди, Тед или Тедди?

– Обычно – Недом.

– Нед. Совсем неплохо. Тогда и я буду звать вас Недом, а вы зовите меня Оливером.

– Так куда же мы едем?

– Ну, нам ведь нужно многое обсудить, не так ли? Вот я и подумал, что лучше выбрать для этого приятное, тихое место.

– Да, но понимаете, моя девушка... она не знает, где я. И отец...

– Боюсь, дорога нам предстоит дальняя. Я бы на вашем месте подремал немного. Определенно подремал бы, – посоветовал Дельфт, откидываясь на спинку сиденья.

– Она будет волноваться...

Однако Дельфт, похоже мгновенно заснувший, ничего не ответил.

После ночной вахты на «Сиротке», а затем и хлопотливого дня Нед так и не смог уснуть в тряске поезда Глазго-Лондон. На следующий день, то есть сегодня – неужели вправду *сегодня*? – ему пришлось ехать в аэропорт, а оттуда назад на Кэтрин-стрит. Там-то он провел некоторое время в постели, однако поспать не поспал. Порция подремала немного, но Нед был слишком счастлив, чтобы заснуть.

И вот теперь, несмотря на странность происходящего, на Неда напала зевота. Последним, что он увидел, прежде чем заснуть, было зеркальце заднего обзора и следящие за ним холодные глаза мистера Гейна.

– Вам придется простить мне столь топорное обхождение с яйцами, – сказал Оливер Дельфт. – Я начал мою карьеру с омлета *aux fines herbes*³⁸, но теперь, боюсь, скатился к при-

³⁸ Со специями (*фр.*).

сыпанной зеленью болтунье. Зато не подгорает! Это, если хотите знать, самое точное ее описание. – Улыбаясь, он пододвинул тарелку к Неду.

– Спасибо. – Нед принялся уплетать яичницу, сам удивляясь тому, насколько он голоден. – Очень вкусно.

– Польщен. Пока вы едите, давайте поговорим.

– Это ваш дом?

– Это дом, в который я иногда наезжаю, – сказал Дельфт. Он стоял со стаканом вина в руке, прислонясь к кухонной плите «Ага».

– Вы полицейский?

– Полицейский? Нет-нет. Боюсь, ничего столь волнующего. Всего лишь скромный труженик из низших эшелонов правительства. Работа у меня скучная. Мы здесь для того, чтобы внести полную ясность в один-два вопроса.

– Если вы о наркотиках, которые нашла у меня полиция, то, *клянусь*, я ничего о них не знаю.

Дельфт снова улыбнулся. Улыбка давалась ему с трудом. Он смертельно скучал, да и необходимость находиться здесь вызывала у него раздражение. От долгого приятного уикэнда, который он предвкушал, остались рожки да ножки.

Пять минут... пять проклятых минут – вот что встряло между Оливером и свободой. Он уже запер стол, уже расписался в журнале прихода и ухода, когда в комнату влетела Морин, взволнованно лепеча что-то о срочной депеше из полицейского управления в Уэст-Энде.

– А разве Степлтон не пришел? Мне уже пора сдавать смену.

– Нет, мистер Дельфт. Капитан Степлтон еще не появился. Кроме вас, здесь никого.

– Вот сволочь, – от всей души выругался Оливер. – Ну ладно, дайте взглянуть.

Он взял у Морин бумажную ленту и внимательно прочитал все, что было на ней напечатано.

– Так. Кто из костоломов у нас нынче дежурит?

– Мистер Гейн, сэр.

– Пусть греет двигатель. Буду через три минуты.

Хоть тут повезло. Мистер Гейн был из числа подчиненных Оливера, он, по крайности, не станет осложнять жизнь, попусту хорохорясь и наступая на чувствительные мозоли.

Кого Оливер совсем уж не ожидал обнаружить в полицейском участке на Савил-роу, так это испуганного школьника. Все происшедшее выглядело полной нелепицей. Явная ошибка, сказал он себе, едва увидев жалкое, недоумевающее лицо всклокоченного юнца, подергивавшего – вверх-вниз – коленом под столом комнаты для допросов. Дельфту и самому-то было всего двадцать шесть, но он успел повидать достаточно, чтобы сразу понять: Нед Маддстоун невинен, как новорожденный цыпленок. Новорожденный *почтовый голубь*, подумал он. Хорошее выражение, надо будет использовать его в отчете. Начальство Оливера было достаточно старомодным, чтобы получать удовольствие от ловко ввернутого словца.

Теперь он смотрел через стол на этого ребенка.

Нед сидел за кухонным столом, все еще подергивая упирающейся пальцами в пол ногой, все еще храня умоляющее выражение на невинном лице.

– Честное слово, – говорил он. – Готов поклясться на чем угодно. Хоть на Священном Писании!

– Успокойся, – сказал Оливер. – Не думаю, что нам понадобится Писание. Да в этом доме греха оно навряд ли сыщется, – прибавил он, оглядывая кухню с таким видом, словно та находилась не в английском загородном доме, а в луизианском борделе. – Можешь, если тебе это доставит удовольствие, поклясться на «Иллюстрированной кулинарии» Маргариты Паттен, однако особой необходимости я в этом не вижу.

– Так вы мне верите?

– Разумеется, верю, дурачок. Все это какая-то идиотская ошибка. Однако, раз уж мы здесь, почему бы тебе не объяснить, что означают слова «внутри, внутри, внутри».

– Да не знаю я! – воскликнул Нед. – Вот и полицейский спрашивал о том же, а я этих слов никогда и не слышал. Нет, слово «внутри» я, конечно, слышал и раньше, но...

– Ну вот, в этом мы и попытаемся разобраться, – сказал Оливер. – И как только все выяснится, ты вернешься к своей жизни, а я к своей, чего нам обоим и хочется.

Нед с силой покивал:

– Абсолютно! Но...

– И отлично. Теперь давай-ка взглянем на это, ладно?

Оливер подошел к столу и положил на него листок бумаги.

Нед озадаченно уставился на листок. На нем был отпечатан список имен и адресов. Нед сразу узнал имена министра внутренних дел, лорда-канцлера и министра обороны; за ними шли другие, тоже смутно знакомые. Внизу листка были заглавными буквами написаны от руки слова:

ВНУТРИ ВНУТРИ ВНУТРИ

– Что это значит? – спросил он.

– Листок принадлежит тебе, – ответил Оливер. – Так что ты мне и скажи.

– Мне? Я его никогда раньше не видел.

– Тогда что он поделывал во внутреннем кармане твоей куртки?

– В карма... Ох! – В голове Неда забрезжила догадка. – А он... он лежал в конверте?

– Именно в конверте! – подтвердил Оливер. – Ты совершенно прав! Вот в *этом*!

В руках Оливера оказался белый конверт, который в полиции, к его неудовольствию, не долго думая разодрали. Оливер сразу заметил за клапаном конверта маленький волосок – меру предосторожности, позволяющую получателю, в случае, если кто-нибудь сунет нос внутрь, сразу это заметить. Можно, конечно, найти точно такой же конверт и пустить письмо в дело, но неизвестно ведь, какие еще хитрости этого рода сдуру уничтожили полицейские. Собственно, они и не виноваты, признал Оливер. Они проводили рутинный обыск, полагая, что имеют дело всего-навсего с запасом наркотиков, который таскает с собой дрянной мальчишка.

– А почему это так важно? – спросил Нед. – И что это значит?

– Ну-с, поскольку ты признал, что листок твой, думаю, ты и должен ответить на эти вопросы.

Нед неловко поерзал на стуле.

– Но, понимаете, я... мне его дали.

– Н-да. Боюсь, мне нужны кое-какие подробности.

– Один мужчина.

– Ну что же, это исключает из рассмотрения миллиарда два людей или около того, однако нам этого маловато, не так ли? Хорошо бы еще немного сузить зону наших поисков.

– Он умер.

– После чего вручил тебе конверт.

– Нет, он умер только вчера.

– Сделай мне одолжение, Нед, перестань нести чушь. Кто он и как получилось, что он отдал тебе конверт?

«Поклянись этой святой для тебя вещью».

Нед едва не расплакался от огорчения. Ему отчаянно хотелось быть честным. Хотелось порадовать этого милого человека, но ведь слово нужно держать. Нарушив священную клятву, не навлечет ли он на себя ужасные беды?

«Что для тебя дороже всего на свете?»

Какого поступка ждала бы от него *Порция*?

– А это очень важно, чтобы я вам рассказал? Настолько, чтобы заставить меня нарушить торжественную клятву?

– Послушай меня, юный скаут, – сказал Оливер. – Я тебе кое-что объясню. Тебе этого знать не следует, но я уверен, лишнего болтать ты не станешь. Вина хочешь?

– А молока у вас нет?

– Молока? Сейчас посмотрю. – Оливер склонился над холодильником и заглянул внутрь с такой подозрительностью, будто это был первый холодильник, увиденный им в жизни. – Молоко, молоко, молоко... а, вот оно. Так вот, Нед, – продолжал он, – моя работа требует, среди прочего, чтобы я постарался остановить людей, которые взрывают в нашей стране бомбы. Боюсь, есть только пастеризованное. Да еще и обезжиренное. Подойдет?

– Вполне. Большое спасибо.

– Сам я его на дух не переношу. Сразу начинаю сопливиться. Взрывы бомб, Нед, устраивают, как ты, наверное, читал в газетах, разного рода мерзавцы. Они закладывают их в пивных, в клубах, в офисах, на вокзалах и в магазинах, убивая и калеча простых людей, которые ни на кого зла не держат – разве что на управляющих их банков, начальников и супружниц. Да пей ты прямо из пакета, дружок. Так вот, некоторые из этих бомбистов с удовольствием звонят в полицию или в редакцию какой-нибудь газеты, дабы объявить о своих достижениях, – коли слово «достижения» тут уместно. Или же, если в них еще осталось хоть что-то человеческое и они хотят только разрушить здание, предупреждают полицию о том, что следует убрать с места взрыва людей. Пока понятно?

Нед кивнул, ладонью стирая с лица белые усы.

– Хорошо. Но для того, чтобы помешать первому попавшемуся старому придурку позвонить и оставить ложное предупреждение или просто взять все на себя шутки ради, между нами, правительством, и ними, *bona fide*³⁹ террористами, заключено более или менее работающее соглашение. Звоня в полицию или в газету, заложивший бомбу человек произносит кодовую фразу, доказывающую, что он действительно самый что ни на есть террорист. Ты за мной успеваешь?

– Да.

– Отлично. Так вот, самая последняя кодовая фраза, которой временная Ирландская республиканская армия пользуется, предупреждая о заложенной бомбе, – и фраза эта установлена всего несколько дней назад – состоит из трижды повторенного слова «внутри».

– Но...

– Так что теперь ты, возможно, понимаешь, почему сержант уголовной полиции Флойд, да хранит его Бог, малость разволновался, обнаружив этот листок в кармане твоей куртки. И вероятно, ты сможешь понять, почему он позвонил в мою контору и почему я прошу тебя рассказать мне, как листок оказался у тебя. Тот, кто тебе его дал, был террористом ИРА, Нед. То есть человеком самого дурного толка. Из тех, чьи представления о политическом протесте сводятся к отрыванию рук и ног у маленьких детей. Так что какую бы клятву он с тебя ни взял, она решительно ничего не значит. Поэтому назови мне его имя.

– Падди Леклер, – сказал Нед. – Его звали Падди Леклер. Он был инструктором по парусному спорту. Мы шли по морю, и ему вдруг стало очень плохо. Он дал мне конверт перед самой смертью.

– Ну вот, видишь. Ты и назвал его, – сказал Оливер, похлопав Неда по спине. – Не так уж было и трудно, правда?

– Я не... Я и понятия ни о чем не имел. Понимаете, он же работал в школе, ну и так далее. Если бы я хоть на *минуту*...

³⁹ Честными (*лат.*).

– Конечно, малыш, конечно.

– Вы думаете, это как-то связано с моим отцом?

– Твоим отцом? С какой стати... а, так ты, выходит, из этих Маддстоунов? Родственник сэра Чарльза? Он кем же тебе приходится, дедом?

– Отцом, – словно оправдываясь, ответил Нед. – Я... я поздний ребенок.

– Во второй мой год в Сент-Марке я жил во Дворе Маддстоуна, – сказал Оливер. – И из окна моей комнаты открывался прекрасный вид на огромную каменную статую Джона Маддстоуна, основателя колледжа. Ты на него совсем не похож. Знаешь, в «восьмую неделю»⁴⁰ мы его красили в синюю краску. Так, так. Да, думаю, твой друг Падди Леклер здорово веселился, отдавая тебе это письмо. Такого рода фокусы очень нравятся типам вроде него.

– Он не был моим другом, – вспыхнул Нед. – Просто школьным инструктором.

– Извини.

Нед снова взглянул на листок:

– Выходит, это люди, которых ИРА собирается убить?

– На первый взгляд выглядит именно так, – согласился Оливер. – Однако выглядеть и быть – не всегда одно и то же.

Нед еще раз прошелся по списку имен.

– Не понимаю, что еще это может значить, – сказал он. – Тут одни политики, генералы и так далее, верно?

– Ну, может быть, нам хотят внушить, что эти люди намечены в жертвы. Возможно, твой друг Леклер был уверен, что ты из любопытства вскроешь письмо, заподозришь неладное и покажешь его отцу. Не исключено, что вся идея сводится к тому, чтобы мы засуетились, потратили попусту уйму времени и сил на охрану этих людей, между тем как настоящая жертва – кто-то совсем другой. А может быть, конверт был заражен каким-нибудь смертоносным вирусом и весь план сводился к тому, что ты заразишь отца, а он, в свой черед, – весь кабинет министров. Не исключено, что Леклер оттого-то и умер – по причине неосторожного обращения с микробами.

– О господи! Но...

– Много есть всяких «может быть». Может быть, они подбросили тебе марихуану и стукнули в полицию, чтобы выманить меня и проследить до этого дома. Может быть, они сейчас сидят неподалеку в фургоне, нацелив миномет на эту самую комнату. Таких возможностей тысячи и тысячи. Кто знает? Всякого рода «может быть» столько же, сколько секунд в столетии. Но одно могу тебе сказать наверняка, – продолжал Оливер, усаживаясь напротив Неда. – Мы так ничего и не узнаем, пока ты не расскажешь мне все от начала и до конца. Надеюсь, ты с этим согласен?

– Конечно. Абсолютно.

– Хорошо. Я был с тобой совершенно откровенен, отплати мне тем же. Расскажи все, что знаешь, и ты даже глазом моргнуть не успеешь, как мистер Гейн отвезет нас обратно в Лондон. Обещаю, ты вернешься домой, в лоно семьи, еще до десятичасовых «Новостей». Полагаю, против магнитофона ты возражать не станешь?

– Нет, – сказал Нед. – Нисколько.

– Превосходно. Посиди здесь, попей молочка. Я мигом.

Ур-ра! Мысли Оливера, пока он переходил в гостиную, летели впереди него. Если быстро вернуться на службу, набросать предварительный отчет и оставить Степлтона звонить в Службу безопасности, к полуночи можно будет удрать за город. Возможно, ему все-таки удастся спасти этот уик-энд.

– Как вы здесь, Гейн? Где «Ревокс»?

⁴⁰ Неделя празднования окончания учебного года в Оксфорде.

– В буфете под полкой, сэр. Сейчас принесу.

Оливер взял со стола кроссворд из «Ивнинг стандарт»⁴¹, над которым трудился могучий интеллект мистера Гейна.

– Вот в чем ваша ошибка. Макака.

– Сэр?

– Шесть по горизонтали, «примат». Вы написали «собака», а следовало «макака».

– А-а.

– Кстати, почему «собака»?

– Ну, мистер Дельфт, сэр, – сказал Гейн, вручая Оливеру магнитофон, – знаете – устал как собака, устал как макака.

– Да, действительно. – Оливер в который раз подивился причудливости мыслительных процессов мистера Гейна. – Ладно, все займет не больше часа. Будьте героем, заправьте «ровер», хорошо? В гараже должны быть канистры.

– Уже сделано, сэр.

– Умница. Да, и еще, Гейн...

– Сэр?

– Вы уверены, что за нами не было хвоста?

– Сэр! – В голосе мистера Гейна слышалась обида.

– Да я, собственно, так и не думал. Просто хотел убедиться.

– Итак. Начнем с самого начала. Когда ты познакомился с Падди Леклером?

Вопросы шли и шли, один за другим. Нед говорил уже больше часа, а до последней ночи на борту «Сиротки» они все еще не добрались. Оливер хотел выяснить все подробности не только каждого из прежних плаваний, но и каждого происходившего во время учебного года собрания парусного клуба.

– Ты хорошо справляешься, Нед, очень хорошо. Теперь уже не долго осталось. Так, на чем мы остановились? Ах да. Ирландия. Джайентс-Козуэй. Ты отсутствовал два часа, бродил по скалам, пока все остальные играли на пляже. Точно два часа?

– Может быть, и полтора. Два – это самое большее.

– А когда ты вернулся, он был один?

– Я определенно никого с ним не видел.

– Потом вы пошли в Обан и плыли всю ночь? В какое время вышли?

– Восемь тридцать пять. Я сам занес время в вахтенный журнал. Я же говорил.

– Я просто проверяю. Просто проверяю. Теперь опиши мне обстановку. Луна сегодня совсем молоденькая, так? Вон она, в окне. Стало быть, две ночи назад было очень темно. Вы шли морем, не удаляясь от пустынного берега. Темень, я полагаю, наступила такая, что хоть глаз выколи, но от силы на час с небольшим, в это-то время года. Я прав?

Вопросы продолжались. Оливер, естественно, был дотошен – так его учили, однако на сей раз он старался выяснить все до точки еще и потому, что не хотел вторично встречаться с Недом, упустив сегодня какую-то подробность. Работы в предстоящие недели будет предостаточно, придется допросить директора школы, других членов этого чертова парусного клуба, свидетелей в Обане, Тобермори, Голландии, еще в дюжине мест.

– ...Я сразу понял, что он серьезно болен... послал Кейда за бутылкой виски... нет, «Джеймсонс»... похоже, его это развеселило... заставил меня поклясться... самым святым для меня...

Оливер допил остатки вина.

– Прекрасно, прекрасно. А откуда взялся конверт?

⁴¹ Ежедневная вечерняя газета консервативного направления.

- Ну, наверное, купил где-нибудь. В магазине. Он об этом ничего не сказал.
- Нет-нет. Откуда Падди *достал* его? Из кармана? Из сейфа? Откуда?
- А, понял. Из небольшой такой сумки. Она лежала на штурманском столе.
- Какого цвета?
- Красного. Красный нейлон.
- Имя производителя на ней значилось? «Адидас», «Файла», что-нибудь?
- Н-нет... почти уверен, что нет.
- Ладно, ладно. Твой приятель Руфус Кейд ничего услышать не мог, так?
- Да, определенно.
- Ты уверен? Оттуда, где ты находился, был виден люк?
- Нет, но Падди его видел, и, если бы Руфус вернулся, он заметил бы.
- Неплохо. Пойдем дальше.
- Ну, тут он попросил меня доставить письмо.
- На конверте ничего не написано. Или он воспользовался симпатическими чернилами?
- Нет. – Это предположение вызвало у Неда улыбку. – Он заставил меня запомнить адрес.
- А именно?..
- Лондон, ЮЗ-1, Херон-сквер, тринадцать, Филип А. Блэкроу.

Оливер Дельфт дернулся, точно от удара током. Каждый нерв его затрепетал. Сердце вдруг скакнуло куда-то, в глазах на миг потемнело.

Нед встревоженно глядел на него:

- Вам плохо?
- Просто свело ногу. Судорога. Ничего серьезного.

Оливер встал, выключил магнитофон и отошел от стола, налегая на правую ногу словно бы в стараниях размять сведенную судорогой мышцу. Теперь самое главное – оставаться спокойным, совершенно спокойным, не терять самообладания.

– М-м, послушай, – сказал он, – я отойду на минуту. Подожди меня здесь, хорошо? Сделай себе бутерброд или еще что. В холодильнике осталось молоко. Мне нужно кое-что сделать. Позвонить. Найти для тебя какую-нибудь одежду. Ну и так далее. Ты не против?

Нед радостно закивал.

Мистер Гейн продолжал борьбу с кроссвордом.

- Все в порядке, мистер Дельфт, сэр?
- Скользкий нам попался стервец, – вздохнул Оливер. – Придется использовать Д-16. Я поднимусь вверх, подготовлю все. Слава богу, до Лондона всего полчаса езды.

Брови мистера Гейна взлетели вверх.

– Д-16? Вы уверены, сэр?

– Разумеется. Еще бы я не был уверен. Это террорист, Гейн. Из самых крайних. Вызовите пару ваших людей, чем тупее и жестче, тем лучше. Когда они доберутся сюда, воспользуйтесь их машиной. Ваша понадобится мне. Встретимся завтра в Д-16, я привезу все документы. Давайте, давайте, звоните. Только убедитесь сначала, что телефон чист. Да идите же! Какого хрена вы ждете?

Гейн рванул к двери, он был испуган – впервые за четыре года он видел своего начальника хотя бы частично, но утратившим власть над собой.

Оливер стоял посреди комнаты, мысли в его голове обгоняли одна другую.

Невероятно, невероятно! Имя и адрес, ясно и громко произнесенные прямо в микрофон, – ладно, первым делом стереть запись. Да нет, *не стереть*. Нужно же что-то и Лондону скормить. Делегация из управления в Уэст-Энде занесена в журнал, о ней знает Морин, а есть еще этот сержант из уголовки.

Боже ты мой, мальчишка-то сын члена кабинета министров! Если он где-то намажет, ему это дорого обойдется.

Оливер заставил себя мысленно отступить назад, сосредоточиться. С сержантом и производившими арест полицейскими справиться будет несложно. Уже к полуночи они подпишут «Акт о неразглашении» и поклянутся вечно хранить молчание, об этом он позаботится лично. К тому же имени Неда Маддстоуна в полиции не знают. Оливер вошел в допросную как раз в тот момент, когда Флойд спросил у Неда, как того звать.

Теперь уж о долгом уик-энде нечего и мечтать, это ясно. И о коротком тоже. Помимо всего прочего, надо что-то придумать с записью. Ему, разумеется, нужна лента с записанными на ней именем и адресом, но только не с *этим* адресом и не с именем Филип А. Блэкроу.

Конечно, услышать это имя было для него жутким потрясением, с другой стороны, думал Оливер, можно считать, что он получил от Бога подарок. Приди депеша на пять минут позже, она попала бы не к нему, а к Степлтону. И если бы Степлтон слышал фамилию Блэкроу...

Нет, в конечном счете Господь более чем милостив. Мальчишку взяли на улице. Никто ничего не знает. *Никто ничего не знает.* И этот простенький факт дает ему почти неограниченную власть над обстоятельствами. Теперь от него требуется только одно – точная работа.

Первое побуждение, охватившее Оливера едва ли не до того, как Нед договорил имя и адрес, состояло в том, чтобы немедленно его ликвидировать, однако теперь он отбросил все мысли об этом. В его мире, что бы там ни твердили газетчики и сочинители детективных романов, убийство всегда оставалось крайней мерой – и до того уж крайней, что ее почти и не принимали в расчет. Не из соображений какой-то там совести, просто всегда существовал иной выбор. Враг может в один прекрасный день обратиться в друга, друг – во врага, ложь может стать правдой, правду могут признать ложью, покойника же никогда и никакими средствами оживить не удастся. Гибкость – вот что важнее всего.

И кроме того, смерть имеет свойство развязывать языки. Мертвые, естественно, помалкивают, зато живые говорят как заведенные, а Оливеру, если он хочет выбраться из этого пикового положения невредимым, как раз живые-то и понадобятся. Он не сомневался, что может целиком положиться на Гейна, однако следует видеть и дальнейшую перспективу. Оливер мог представить себе далеко не один угрожающий поворот событий, а наберется немало и таких, он это понимал, которые ему и в голову никогда не придут, жизнь есть жизнь. Всегда ведь существует опасность, что в Гейне ни с того ни с сего пробудится совесть или он вдруг уверует в Бога, преисполнится раскаяния и пожелает очистить душу признанием. Да если на то пошло, и старомодный, обремененный сознанием собственной вины либерализм штука тоже опасная. В конце концов, Гейн может попросту пристраститься к бутылке, а это грозит неосторожностью в речах, если не шантажом. Оливеру случалось видеть его пьяным – причем в стельку, – да, голова у этого малого столь же крепка, как все остальное, однако кто знает, во что он обратится лет через десять, двадцать или тридцать? Ничто не вечно, все изменчиво, а потому смерть, с ее вечностью и неотвратимостью, может оказаться самым рискованным выбором. Парадоксально, но верно.

Оливер принадлежал к разряду людей, решительно неспособных понять, почему все так носятся с «Гамлетом». Для него мысль и действие составляли единое целое. Он еще поднимался наверх, чтобы поискать в шкафу одежду, а превосходный план уже сложился в его голове до последних деталей.

Гордон вернулся домой в самый разгар бурной ссоры Порции с родителями.

– Он *не* такой, как все! – кричала она на Хиллари. – Не смей так говорить!

– Скорее всего, встретил каких-то друзей, направлявшихся в «Харродз», и думать про тебя забыл, – предположил Питер. – Он из людей этого типа. Никакого чувства долга. Посмотри, как они ведут себя в Палестине. Взгляни на Ирландию. Напрочь лишенный подбора болван, если хочешь знать мое мнение.

– Палестина? *Ирландия*? При чем тут вообще Палестина?

– Ну-ну-ну, – пробормотал Гордон бросившейся ему на грудь Порции. – Остынь, Пит. Ты же видишь, она расстроена. Что случилось, Порш? Поссорилась с Недом?

– Конечно, нет, – всхлипнула она. – Ах, Гордон, он пропал!

– Пропал? Что значит пропал?

– То и значит. Исчез. Я... я пошла договариваться насчет работы. Он должен был ждать меня на улице, а его там не оказалось. И в отцовский дом на Кэтрин-стрит он тоже не вернулся. Я несколько часов пробродила около дома, он так и не появился. Тогда я подумала, что он, может быть, позвонил сюда, прилетела домой, но и здесь от него никаких известий не было, ничего. И вообще, – она повернулась к Питеру, – что значит «лишенный подбородка»? У Неда замечательный подбородок. Больше того, Неду не приходится, как некоторым, прятать его под чахлой, травленной молью бородашкой.

– Ну, насчет этого мы ничего наверняка сказать не можем, – откликнулся Питер, размашисто складывая номер «Морнинг стар». – Давай подождем, пока он повзрослеет достаточно, чтобы обзавестись бородой, идет?

– Совершенно недопустимый тон, – фыркнула Хиллари. – В сущности говоря, это род эмоционального изнасилования. Вот именно. В самом простом и чистом виде. Изнасилования.

Порция, повернувшись к матери, зарычала.

– Ладно, ладно. – Гордон умиротворяюще положил руку на плечо Порции и повернул ее лицом к себе. – Давайте на этом и остановимся. Ты туда еще не звонила?

– Звонила? Куда?

– Домой к Неду. Вернее, к его отцу. На... Кэтрин-стрит, так, по-моему?

– Конечно, звонила. Как только пришла сюда.

– К телефону кто-нибудь подошел?

– Он просто трезвонил и трезвонил, – ответила Порция, бросаясь к телефонному аппарату. – Сейчас попробую еще раз.

– Выглядит, в общем-то, странновато.

– А то я не понимаю! Это я и пыталась втолковать им обоим, так они же не слушают!

– А с отцом Неда ты связаться не пробовала?

– Я не знаю номера. Он на какой-то встрече с избирателями.

– Ну да, скорее всего гоняется где-нибудь за несчастной лисой.

– На дворе *шоль*, Пит! – заорала Порция. – В июле на лис не охотятся!

– Ах, прошу прощения, ваше высочество. Сожалею о моем ужасном невежестве по части всяких тонкостей светского календаря. Боюсь, я расходую слишком много времени на всякую ерунду вроде истории и социальной справедливости. На вещи же воистину важные, к примеру на то, как высшие классы организуют свой год, у меня его вечно не хватает. Придется как-нибудь заняться этим всерьез.

Большей части этой прекрасной речи Порция не услышала, потому что одно ухо заткнула пальцем, а к другому плотно прижала телефонную трубку.

– Не отвечает, – сказала она, – его там нет.

– Или просто трубку не берет... – вставила Хиллари.

Гордона так и подмывало включить телевизор, узнать, не попало ли уже что-нибудь в новостные программы, однако он понимал, что должен сейчас вести себя как самый что ни на есть нежный, участливый брат. Для Порции это суровое испытание, а публичный скандал, который наверняка вот-вот разразится, будет способствовать все большему и большему их сближению. Нужно разыгрывать свои козыри умело и ни в коем случае не спешить.

– Слушай, может, мне туда смотаться? – предложил он. – На Кэтрин-стрит. А ты оставайся у телефона, вдруг он позвонит.

– Ах, Гордон, а тебе не трудно?

– Да нет, конечно.

– А вдруг он позвонит после твоего ухода? Как я тебе сообщу?
– Ну, найду телефон-автомат и буду связываться с тобой каждый час.
– Только вернись до полуночи, – крикнула ему вслед Хиллари. – Если он не объявится, утром решишь, что делать дальше. Я не хочу, чтобы ты ночь напролет слонялся по улицам.
– Конечно, конечно. Непременно вернусь, – пообещал Гордон.
Он выкатил из гаража свой велосипед и поехал в Хайгейт, к дому, принадлежащему родителям Руфуса Кейда, предвкушая приятный вечерок с травкой и весельем под выпуски «Новостей».

Нед устал, но чувствовал странный подъем. Приятно говорить с человеком, который впитывает каждое твое слово. Как только он решил рассказать Оливеру обо всем, старания извлечь из памяти все до последней мелочи стали доставлять ему удовольствие. Он даже начал гордиться точностью и доскональностью своих воспоминаний.

А какая получилась история! Ему не терпелось пересказать ее Порции, если, конечно, Оливер разрешит это сделать. Отцу-то он непременно расскажет. И может быть, Руфусу, он же был на яхте той ночью. Оливер, скорее всего, так или иначе будет расспрашивать Руфуса, да и всех остальных членов парусного клуба. Какой скандал ожидает школу!

Вот только марихуана в кармане так и оставалась полной загадкой. Вероятно, думал Нед, кто-то из испанских студентов, с которыми он заговорил у дверей колледжа, увидел за его спиной приближающихся полицейских и, чтобы спасти свою шкуру, сунул травку ему в карман.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.